

**Главы из книги:
Эткинд А.М. Внутренняя колонизация.
Имперский опыт России**

Аннотация: Книга Александра Эткинда «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России» (М.: Новое литературное обозрение, 2013г.) рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизируя многие народы, включая и самих русских. Автор подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей. Двигаясь от истории к литературе и обратно, А. Эткинд дает неожиданные интерпретации критических текстов об имперском опыте, авторами которых были Дефо и Толстой, Гоголь и Конрад, Кант и Бахтин. Ниже публикуются главы 8 и 9 из книги.

Ключевые слова: внутренняя колонизация, империализм, самоколонизация, ориентализм.

Глава 8. Внутренние дела

В недавней статье Уиллард Сандерленд [Sunderland 2010: 120] задаёт вопрос, почему в Российской империи так и не было создано Министерство по делам колоний. Этот вопрос звучал и раньше; Август фон Гакстгаузен, впервые задумавшийся над ним, предлагал империи создать Министерство колоний, «как в Англии, хотя и в несколько другом смысле» [Haxthausen 1856, v. 2: 76]. Но и его предложение запоздало. Ответ на вопрос, почему в России не было Министерства колоний, состоит в том, что такое министерство здесь было, одно или два.

Интеллектуалы у власти

Девиз на гербе графа Льва Перовского, министра внутренних дел Российской империи (1841–1852), гласил: «Не слыть, а быть». Незаконный сын графа Алексея Разумовского, министра просвещения (1810–1816), Перовский заслужил свой графский титул, занимая высокие должности в администрации эпохи Николая I. Девиз ему составил Владимир Даль, военный хирург, ставший автором многотомного словаря русского языка, а также глава Особой канцелярии министерства, работавший лично на Перовского [Мельников-Печерский 1873: 310]. Чтобы «быть», министр окружил себя писателями и учёными, которые знали толк в обманчивом искусстве «слыть». В интеллектуальной истории России люди 1840-х годов обыч-

но представляются высоколобыми идеалистами, знатоками и сторонниками немецкой романтической философии [Berlin 1978]. Сотрудники Министерства внутренних дел принадлежали к другому сорту людей. Не романтические ежи, а политические лисы, эти интеллектуалы знали, что такое власть, и умели демонстрировать свою ценность тем, в чьих руках она была. В их времена знание приносило власть над природой. Наука создала вакцины, навигационные приборы, паровые машины и добилась других успехов, оценить которые могли все, но понять — лишь специалисты. Столь же глубокие, специальные знания о населении — на языке этих интеллектуалов, о народе — должны были помочь власти благотворно действовать на народ в интересах империи. Очевидные явления, заметные публике, несущественны для искусства управления. «Быть» отличалось от «слыть», но разницу между ними знали только профессионалы.

В 1840-х и 1850-х годах Министерство внутренних дел приняло на службу ведущих русских философов, востоковедов и особенно много писателей¹. Это была группа блестящих интеллектуалов, рядом с которой бледнел преподавательский состав Московского и Петербургского университетов. Империя входила в новый век современной, рациональной бюрократии. Дворянство нуждалось в экспертах, и дворяне становились экспертами [Weber 1979: 973]. Министерство внутренних дел контролировало огромные сферы управления империей, включая полицию, здравоохранение и цензуру [Lincoln 1982]. Оно управляло всеми связями между империей и ее частями: назначало губернаторов, посылало ревизоров, составляло карты, отвечало за дороги и управляло религиозными и этническими меньшинствами. Хотя власти над именами у министерства не было, оно составляло правила для помещиков. Обычаи аристократического управления уже казались устаревшими, но заменить их было сложно. Камерализм, немецкая наука об управлении, ввела в оборот статистику населения, учёт бюджета и рациональный подход к экономике, но практика сильно отличалась от теории [Wakefield 2009]. Журнал Министерства внутренних дел, выходивший под редакцией философа Николая Надеждина, все чаще заполняли статистические таблицы, детальные карты, технические чертежи и даже психиатрические истории болезни. Отец Перовского учился статистике у знаменитого Шлёцера. Теперь министерство пыталось внедрить эти методы на практике, организуя Статистические комитеты в губерниях; в таком комитете в Вятке успел поработать Герцен и вспоминал позже о «статистической горячке», овладевшей тогда умами. Но литература и этнография, немногим отличавшаяся от литературы, лучше отражали ключевые аспекты имперского опыта, чем зарождающаяся статистика. При Перовском и после него большая часть высших чиновников министерства все ещё были интеллектуалами широкого профиля [Orlovsky 1981: 11]. Даже по критериям XIX века многие были самоучками-дилетантами: врач написал словарь русского языка, философ занимался этнографией, офицер разведки создавал религиоведение, а востоковед цензурировал прессу. Сами размеры империи, огромность ее проблем и крохотный штат министерства требовали писателя, лучше всего романтика-сентименталиста с широким кругозором, бойким пером и героической склонностью к упрощениям. Как писал от имени своего героя-чиновника один из сотрудников министерства, сатирик Михаил Салтыков-Щедрин, «я публицист, метафизик, реалист, моралист, финансист, экономист, администратор. По нужде, я могу быть даже другом народа» [Салтыков-Щедрин 1936, т. 10: 71].

Отец Перовского, Алексей Разумовский, был украинским казаком, племянником тайного мужа императрицы Елизаветы. Получив домашнее образование, он стал министром просвещения. Разумовский женился на богатейшей наследнице в России, из рода Шереметьевых. Дочь его конюха родила от Разумовского десять детей, в том числе и будущего министра вну-

¹ Философами были Николай Надеждин, Константин Кавелин, Юрий Самарин и Петр Редкин, ориенталистами — Иван Липранди, Василий Григорьев, Павел Савельев и Яков Ханьков, писателями — Павел Мельников, Иван Тургенев, Иван Аксаков, Владимир Одоевский, Владимир Соллогуб, Михаил Салтыков-Щедрин, Евгений Корш, Николай Лесков и другие.

тренних дел. Карьера Перовского и его братьев была вдвойне необычной для консервативной империи: малороссийские помещики на вершине власти, к тому же и не дворяне. Тем более интересно, что она кажется запечатленной или даже предсказанной в одном из самых популярных романов. В «Иване Выжигине» (1829) Фаддея Булгарина главным героем является незаконнорожденный отпрыск аристократической семьи, владевшей огромными поместьями в Украине. Иван Выжигин проходит путь от нищенства, проституции и участия в тайной секте до высоких постов в империи. Соперничество между правоохранительными структурами империи было делом обычным, но Булгарин придал ему литературное измерение. Начав со службы в наполеоновской армии, в России польский интеллигент Булгарин стал агентом жандармского управления, для которого написал тысячи страниц докладов и доносов [Рейт-блат 1998].

Незаконнорожденные родственники императорской семьи (их называли русскими Монморанси), братья Перовские заняли места на самом верху российской власти. После высшего поста в Министерстве внутренних дел был министром уделов и управляющими Кабинетом его величества до своей смерти в 1856 году. Его старший брат Николай, участник дипломатической миссии в Китай в 1805 году, стал крымским губернатором. Василий Перовский стал генерал-губернатором Оренбурга, откуда руководил серией колониальных предприятий, которые начались провалом, но закончились колонизацией Средней Азии. Близко стоявший к литературе и ещё ближе — к императорской семье, в 1839 году он читал ее членам самый кощунственный текст русской поэзии — лермонтовского «Демона», который останется под цензурным запретом ещё несколько десятилетий [Герштейн 1964: 69–73]. В 1870-х годах Лев Толстой планировал написать о Василии Перовском целый роман.

Младший сын Разумовского, Алексей Перовский стал писателем Антонием Погорельским. Светский человек и автор нескольких повестей, он запомнился своей сказкой «Черная курица, или Подземные жители», в которой главному герою даже во сне видятся министры. Самый младший из братьев, Борис, стал учителем будущего императора Александра III. Сергей Уваров, министр просвещения, был женат на сестре Перовских. В годы правления Николая I клан братьев Перовских вёл борьбу с кланом сестёр Пашковых, которые вышли замуж за министра юстиции и двух председателей Государственного совета [Корф 2003: 73].

Братья Перовские сотрудничали на нескольких уровнях. Алексей, друг Пушкина и других литераторов, связывал братьев с литературной элитой. Он помог Владимиру Далю определиться на службу к брату Василию — оренбургскому губернатору; потом Даль перешёл на службу в Министерство внутренних дел ко Льву Перовскому. Другие чиновники, например Василий Григорьев, проделали обратный путь — из Петербурга в Оренбург. Вводя новшества, империя опробовала их в колониях, а потом применяла внутри страны, и одна семья управляла обоими пунктами на траектории колониального бумеранга. Поклоняясь разуму и закону, эта группа экспертов на службе империи неизбежно породила своих диссидентов. Сын старшего из братьев Перовских, Николая, стал губернатором Санкт-Петербурга. Его дочь, Софья Львовна Перовская, организовала убийство Александра II и была повешена в 1881 году.

Большую часть пребывания Перовского на посту министра его аппарат возглавлял Карл фон Пауль — член общины моравских братьев, чьи необычные представления о дисциплине привели к постоянным столкновениям с губернаторами, которые подчинялись его надзору [Шумахер 1899: 109]. Кажется, эти представления были не чужды и министру. ещё до своего назначения, в 1830-х годах, Перовский, работавший в Министерстве уделов, ввел коллективный труд — «общественные запашки» — в удельных поместьях, которые принадлежали императорской семье. Этот режим заставлял принадлежащих короне крестьян, многие из которых были староверами или инородцами, не только платить подати, но и совместно работать на полях. Позднее Перовского подозревали в том, что он использовал систему, выработанную в военных поселениях; но в отличие от немецких колоний и военных поселений Перовский

вводил «общественные запашки» через наёмных управляющих. В духе капитализма управляющие получали процент с выполненных работ, но крестьянами управляли с помощью телесных наказаний. Несколько позже Министерство государственных имуществ, которое возглавлял граф Павел Киселев, применило метод Перовского к государственным крестьянам; это нововведение будут одобрять советские историки, видевшие в нем предтечу колхозного строя [Дружинин 1946]. Ранее Киселёв возглавлял администрацию «княжеств», входящих в состав современной Молдавии и Румынии; он тоже принёс внешний опыт в управление внутренними территориями. Министерство Киселёва оплатило Гакстгаузену его путешествие по России и тем самым его открытие общины. Одновременно, в начале 1840-х годов, Перовский обратил особое внимание на еврейские общины-кагалы, собрал о них подробные сведения и в 1844 году составил законоположения о евреях-землевладельцах и коробочном сборе. В те же годы Перовский ввёл в управлявшихся им удельных имениях круговую поруку крестьян при платеже оброка. Это был ранний опыт введения общинного принципа сверху, который потом был перенесён в реформистские законы, освобождавшие крестьян от помещика и ставившие их в зависимость от общины, подобной кагалу.

В Министерстве внутренних дел идея общины была популярна среди философов и юристов, хотя специалисты по сельскому хозяйству из числа сотрудников уже понимали, что общинное землевладение препятствует продуктивности [Lincoln 1982: 123]. Ликвидировав власть помещика, освобождение крестьян в 1861 году оставило общину основным механизмом социального и финансового контроля на селе. Хотя сами проекты реформ были составлены уже после ухода Перовского с должности министра, многие их авторы были его людьми в министерстве. Лев Перовский и сам был богатым землевладельцем, который нанял для своих поместий англичанина-управляющего. В ожидании реформ он по дешёвке скупал крестьян в центральных губерниях и переселял их в свои южные поместья; но в отличие от героя «Мертвых душ» Перовский перегонял живых крестьян.

Руководя министерством, Лев Перовский налаживал современную администрацию в государстве, которое лишь недавно (в 1837 году) отменило посты генерал-губернаторов во внутренних губерниях, сохранив их в пограничных губерниях и в двух столицах². Ликвидация военного руководства внутренними губерниями, одновременная с созданием (тоже в 1837 году) Министерства государственных имуществ, означала переход от чрезвычайного положения, равномерного на всей территории империи, к полицейскому государству, руководимому гражданской администрацией. Развивая научные методы управления — статистику, массовое прививание оспы, ревизии и так далее, Перовский превратил свое министерство в центральный институт внутренней колонизации, обустроивающий жизнь подданных на огромных пространствах империи. Отвечая за правовую, административную и сельскохозяйственную реформы, министерство приняло на себя реформаторские функции, основанные на идеях Просвещения и новых социальных дисциплинах, но сдерживаемые масштабом империи, сословной структурой общества и страхом революции. Имперская администрация внутренних и пограничных губерний наделялась цивилизационной миссией, подобной тем, что осуществляли классические империи в своих заморских колониях. Как описал эту задачу сенатор Кастор Лебедев:

В мирное время мы завоеватели собственных земель, а во время войны мы должны опасаться и защищаться от этих наших подданных <...> Избави, Боже, от беспорядков внутренних! Возгораемых материалов так много, что пожар может объять все пространство <...> Все эти крепостные, все эти обобранные крестьяне и инородные, церковные, мелкопоместные владель-

² Генерал-губернаторы, учреждённые указом Екатерины от 1775 года, обладали чрезвычайными полномочиями. Военные, назначаемые царём были равны столичным министрам, что порождало многочисленные конфликты. Гражданские губернаторы были подчинены МВД и назначались министром. Имперское управление Польшей и Кавказом потребовало статуса наместника, который был выше генерал-губернаторского.

цы и эти беспоместные крестьяне и разночинцы, срочные арестанты, бессрочные отпускные, все это обнаруживает неустройство и беспорядок [Лебедев 1888: 356–358].

Неусыпные усилия министерства были направлены на конфессиональные и этнические сообщества. В бытность свою министром Перовский заказал «карту... всем окончностям государства, с показанием различными красками и тенями, кроме раскольников, всех иноверцев и иноплеменников» — от чуди до камчадал и от Риги до Оренбурга — «не говоря уже об обширных пространствах Сибири» [Липранди 1870b: 111]. Империи всегда питали страсть к картам, которые служили моделью для будущих завоеваний так же, как и изображением уже завоёванных территорий [Grubaker 1992; Suny 2001; Stoler 2009]. Перовского не интересовала стандартизация политических прав и экономических благ в имперском пространстве; наоборот, он приветствовал разнообразие колоний, если их можно было контролировать, наносить на карту, облагать налогом. Имперское пространство наполняли воображаемые сообщества, красочные и экзотические: это они были единицами имперского управления. Министерство брало на себя ответственность за нанесение на карту верных границ между этими разноцветными группами, за распознавание их истинной сущности и приведение отношений между этими сущностями к гармонии ради общего блага. Как писал Надеждин в 1831 году, «освещение [...] разливается из средоточия; но окружность становится ощутительно цветнее» [Надеждин 2000, т. 2: 747]. Это важная черта империи, отличающая ее от национального государства. Национальное государство стремится к гомогенности прав, благ и культур на своей территории; практикуя не прямое правление, империи не только не имеют такой амбиции, но приветствуют эстетическое (а также, в контролируемых границах, политическое и экономическое) разнообразие на периферии. На протяжении века этот культурный — сегодня бы его назвали мультикультуральным — аргумент становился все более важен как оправдание самого существования империи.

Особо опасные секты

В 1843 году Иван Липранди организовал при министерстве Комиссию по делам раскольников, скопцов и других особо опасных сект. Испанский дворянин, Липранди основал российскую контрразведку и руководил ею во время оккупации Парижа, изучал восточные языки и историю, возглавлял государственную политику в отношении неправославных русских и призывал полицейскими мерами усмирить славянофилов, которых считал сектой. Он дружил с Пушкиным и стал прототипом его рассказов [Гроссман 1929; Эйдельман 1993]. На свой страх и риск Липранди возбудил политический процесс против кружка столичных фурьеристов, в котором министерство обрело свою самую знаменитую жертву: Достоевского. Знарок и противник национализма, Липранди писал как истинно имперский мыслитель:

К несчастью, или счастью, Европы, мысль о природных границах и соединении народностей заронена в народах... Сама по себе она величественна, живуча, как бы удовлетворяет естественным влечениям человеческой природы и жизни Государства, но в практике... обогрив Европу потоками крови. Турция и Австрия будут первыми очистительными жертвами этой великой, но фантастической мысли; затем перевернёт она всю Европу и наконец перекинется за пределы ее в остальные части света [Липранди 1870a: 234].

Поскольку «разные земли одного и того же племени» часто более враждебны друг к другу, чем к «чуждой расе» (столетие спустя это назовут «нарциссизмом малых различий»), Липранди предсказывал неудачу объединению Германии и освобождению Италии. Потому же и Российской империи нужно было опираться не на панславянские чувства, а на власть информации и принуждения. Поскольку «племена» и «расы» для него значения не имели,

Липранди видел свою задачу в том, чтобы исследовать и использовать другие, менее очевидные единицы имперского управления. В соответствии с этой логикой предметом его забот стали религиозные сообщества. Используя полицейские отчёты и доклады миссионеров, Липранди сделался одним из первых и лучших специалистов по русскому расколу. Он разделил раскол на секты, обозначив некоторые из них как «опасные», а другие как «особо опасные». Общее количество их последователей Липранди оценил в 6 миллионов, что было примерно в 10 раз больше, чем по предыдущим оценкам. Интересно, что предположение о взаимной ненависти между сходными обществами не распространялось у Липранди на секты. Напротив, он утверждал, что многие из этих разнородных общин объединены в тайную «религиозно-конфедеративную республику» — государство в государстве, внутреннюю колонию совсем особого рода. Там, внутри, были свои столицы, свои средства коммуникации и даже тайный язык, записать который было поручено министерскому лингвисту, Владимиру Далю. Тайный характер сект оправдывал усилия ведущих интеллектуалов министерства, направленные на их выявление [Липранди 1870b: 107]. Новооткрытая «конфедеративная республика» наносилась не на географическую, а на богословскую карту, но нуждалась в полицейском контроле. Липранди писал о таких страшных грехах сектантов, как «кровосмешение, мужеложство, сообщение женщин с женщинами», об их идее, что «домашние вещи принадлежат всем». «Не чистый ли это коммунизм?» — восклицал Липранди [там же: 80–85]. К тому же он подозревал, что раскольники находятся в сообщении с дворянскими вольнодумцами, составляя межсословный заговор, который был кошмаром для российских властей, начиная со знаменитого процесса издателя Николая Новикова в 1792 году³.

Липранди с размахом изобретал новые реалии. На неслыханной религиозной основе он объединил миллионы людей в сплочённое политическое сообщество — республику внутри империи, по своей природе враждебную империи. Если нельзя полностью уничтожить это подпольное сообщество, считал Липранди, его можно ослабить. Чиновник с правами следователя, Липранди предлагал создать сеть агентов среди сектантов и вольнодумцев с тем, чтобы, «сделав с ними личные, т. е. частные связи, ловко расположить их ко взаимной злобе». Он считал необходимым «тайное и ловкое наблюдение за раскольниками», поскольку «раскол есть важное государственное зло» [там же: 131].

Липранди составил это «Обозрение» в то время, когда внедрял своего агента в группу интеллектуалов, глава которой — Михаил Петрашевский — служил переводчиком в Министерстве иностранных дел и был впоследствии, после имитации смертной казни, сослан в Сибирь. К этой группе принадлежал и Достоевский. С помощью своего агента Липранди хотел нащупать связь между петербургскими западниками и раскольниками из народа; как раз эту связь установить не удалось, так что петрашевцы стали побочными жертвами полицейской теологии. Одновременно Липранди пытался начать ещё более крупное дело в том же духе — суд над московскими славянофилами, которых называл «раскольниками в гражданском отношении», ещё одной особо опасной сектой. Славянофилы действительно связывались с раскольниками; Хомяков, например, участвовал в богословских диспутах с раскольниками в Московском Кремле. Но либо Перовскому, либо самому императору новое дело показалось слишком громким, и его остановили.

Репутацию Липранди подмочили ещё и слухи, что он брал взятки от богатых скопцов, и в 1855 году его сменил провинциальный чиновник Павел Мельников (Печерский), позже известный как автор романов о расколе. Следуя за Липранди, но позволяя себе поэтические вольности в официальных бумагах, Мельников говорил о расколе как о болезни на прекрасном теле Российского государства. Подобная сифилису, болезнь станет смертельно опасной,

³ Липранди опубликовал свой трактат под названием «Краткое обозрение существующих в России расколов, ересей и сект как в религиозном, так и в политическом их значении» в 1870 году с датой «1855». Однако интеллектуальным кругам Петербурга этот текст был известен уже в 1851 году; видимо, тогда он и лёг на стол Перовскому [Анненков 1989: 510].

если возглавляемые Мельниковым изыскания не получают новых субсидий: «Русский раскол... превращается в язву государственную, которая для политической жизни России со временем может стать опаснее всевозможных ополчений Запада и союзных им поклонников ислама. России не страшна Европа с Азией — страшней ей она сама, если не уврачуется явившаяся на теле ее язва» [Мельников 1910: 228]. Ненадолго оказался в Министерстве внутренних дел и ещё один специалист по русской религии, Афанасий Щапов, бывший профессор-историк и будущий сибирский ссыльный. Он тоже верил в могущество раскола, но глубоко ему симпатизировал. Николай Лесков, молодой тогда журналист, сам занимавшийся тогда расколом по заказу Министерства просвещения, записал яростный спор «слишком нерешительных мельниковцев» со «слишком решительными щапистами», который проходил в министерстве. Первые считали, что каждый раскольник — сторонник разврата, а вторые — что он «чуть-чуть не маленький Фурье» [Стебницкий 1863: 39]. Конкурирующие нарративы, созданные двумя ведущими специалистами по расколу, консервативным Мельниковым и радикальным Щаповым, соперничали во влиянии на интеллигентную публику. Но в бюрократическом мире Министерства внутренних дел они дополняли друг друга. Идеи о политической природе раскола, которые формулировал Щапов, только оправдывали полицейские меры борьбы с ним.

Новый союз

В гоголевском «Ревизоре» главный герой претендует на роль, которая на самом деле принадлежала чиновникам Министерства внутренних дел. Они регулярно инспектировали отдалённые губернии, сталкиваясь там с хаосом, невежеством и коррупцией. Любопытно, что среди прочего Хлестаков хвалится дружбой с Пушкиным, приводя этим в трепет городских чиновников и их дочерей. В 1843 году службу в Министерстве внутренних дел начал Иван Тургенев. Под началом Владимира Даля будущий писатель работал над проектом сельскохозяйственных реформ. Одним из первых произведений Тургенева стала записка «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине» [Тургенев 1963, т. 1: 149–175]. В 1845 году Тургенев, богатый землевладелец, вышел в отставку, сосредоточившись на своем первом шедевре — «Записках охотника» (они публиковались по частям начиная с 1847 года). «Записки охотника» больше повлияли на внутренние дела России, чем десятки министерских меморандумов. В 1852 году Тургенев был арестован за некролог Гоголю и, проведя месяц под арестом, был выслан в свое родовое имение. Впоследствии почти все его романы из российской жизни были написаны в Западной Европе. Энциклопедия потом утверждала, что «„Запискам охотника“ принадлежит такая же роль в истории освобождения крестьян, как „Жизнь не дяди Тома“ Бичер-Стоу в истории освобождения негров — но с той разницей, что книга Тургенева несравненно выше в художественном отношении» [Венгеров 1902: 99].

В 1848 году на службу в министерство определился ещё один интеллеktуал, молодой юрист Иван Аксаков. Ему была поручена поездка в Бессарабию с целью изучить жизнь удалённой, но могущественной общины раскольников. Там, в степях, он начал писать поэму «Бродяга», главным героем которой стал странствующий и рассуждающий крестьянин, отдалённый предшественник «Очарованного странника». Возвратившись на следующий год в Петербург, Аксаков был арестован в связи с расследованием по делу славянофилов, которое вел его начальник Липранди. По личному распоряжению Николая I следствие в отношении Аксакова было прекращено, а сам он отправлен ревизором в Ярославскую губернию [Сухомлинов 1888]. Для недавнего арестанта это было слишком по-гоголевски. Один из центров раскола, Ярославль, поразил Аксакова. Как исследователь и ревизор, он писал отцу: скоро «Россия разделится на две половины»: «берущие взятку будут православные, дающие взятку — раскольники» [Аксаков 1994: 177]. В одной из волжских деревень Аксаков с коллегами сделал сенсационное открытие, обнаружив новую общину — бегунов. Они считали грехом ночевать на одном месте две ночи подряд, отрицали деньги, семью и собственность, а также лю-

бые контакты с государством, которое считали антихристом. Понятно, что Аксаков забросил поэму «Бродяга», чтобы прозой описать бегунов. Этот отчёт стал едва ли не единственным источником информации о секте; почти никто больше не смог их найти, хотя пытались многие. Между тем Перовский затребовал текст поэмы и, вероятно, удивился параллелям между вольной поэзией о бродягах и бюрократической прозой о бегунах. Министр потребовал от Аксакова выбирать между литературным творчеством и государственной службой. Аксаков вышел в отставку и возвратился в свое поместье. Он стал одним из вождей умеренного русского национализма, успешным издателем и редактором.

Еще один писатель из Рюриковичей, Михаил Салтыков-Щедрин, был в 1848 году послан за литературные произведения в далёкую Вятку на восточной оконечности Европы. Там он служил чиновником при губернской администрации и продолжал писать, пока в 1856 году не получил должность в столичном Министерстве внутренних дел. Разъезжая с ревизиями, он собирал материал для беспрецедентно агрессивной сатиры на многие аспекты чиновничьей жизни. Позднее Салтыков стал вице-губернатором Рязанской губернии и любимым писателем Ленина. Среди этих аристократов, наследников красивых усадеб с сотнями крепостных, граница между карьерой и ссылкой была поразительно зыбкой. Столь же удивительным было сродство между русской литературой и бюрократической службой. Одни классики русской литературы сами состояли на службе, за других (как, например, за Гоголя или Достоевского) это делали их герои. Объяснить такое пристрастие к гражданской службе можно тем, что чиновники и их семьи составляли большую часть читательской аудитории. Ища успеха среди читателей и читательниц, писатели отправляли своих героев в гаремы, на поля битвы, в сумасшедшие дома и другие интересные места. Но очень часто таким местом оказывался министерский департамент. Поворачивая в середине XIX века от романтизма к реализму, русская литература разрабатывала нарративные модели и стилистические навыки, нужные для работы в чиновничьих кабинетах. Товарищ министра внутренних дел Алексей Левшин, который до министерства долго работал в губернских правлениях Оренбурга и Одессы, писал, что во время подготовки к освобождению крестьян «литература оказала великую услугу России разносторонними воззрениями и объяснениями предмета, который не далее, чем за год до этой эпохи, составлял полную тайну, совершенную terra incognita» [Левшин 1994: 84]. Предметом этим — terra incognita — были крестьяне. Освоение неизвестных территорий составляло традиционную задачу имперских литератур; в Российской империи эта задача, как и многие другие, была обращена вовнутрь, к обитателям центральных губерний. Прилагая литературную риторику к административной практике, Министерство внутренних дел проводило свою политику, почти не имея на руках других средств сбора информации, кроме тех, что были доступны писателю. История, филология и тогдашняя царица гуманитарных наук — этнография воспринимались как прикладные науки, незаменимые в скудном арсенале средств управления.

В 1831 году Николай Надеждин, в то время профессор философии в Московском университете, а в дальнейшем — видный чиновник министерства и основатель российской этнографии, говорил о возникновении священного союза между гуманитарной наукой и повседневной жизнью. Этот термин он заимствовал из русского имперского опыта. Священный союз европейских держав, созданный Россией на Венском конгрессе 1815 года, лежал в руинах, и Надеждин мечтал о новом священном союзе, который поведёт Европу вперёд на основании российских открытий, сделанных силами прикладных наук, изучающих русский народ [Надеждин 2000, т. 2: 736–748]. С 1843 года Надеждин служил в Министерстве внутренних дел и принял участие в продуктивных исследованиях, которые частично реализовали его мечту о новом священном союзе. Надеждин, Даль и другие сотрудники министерства создали Русское географическое общество, которое финансировалось из средств министерства [Lincoln 1982; Knight 1998]. При поддержке великого князя Константина, морского министра и одного из творцов крестьянской реформы, Русское географическое общество и его передо-

вое этнографическое отделение сосредоточились на исследованиях внутренних земель России. Самая большая коллекция русских сказок, новаторское исследование русских сект, самый известный словарь русского языка, первые исследования нерусских народов империи — все эти проекты были реализованы в кругах Министерства внутренних дел и на его средства. Авторы этих исследований понимали их колониальную природу и знали о ключевой связи между властью и знанием. Как писал в 1842 году Владимир Даль:

Возьмём близкий к делу пример: вам была бы дана задача изложить начала, основания, на коих должна бы основываться обработка языка каких-нибудь островитян Тихого океана; предполагается преобразовать, перевоспитать дикарей, дать им грамоту, понятия образованные и приспособить к этому всему их младенческий лепет... Чем бы вы начали? ...Конечно, следовало бы приступить первоначально к изучению языка, грубого, дикого, бедного, необработанного, каков он ни есть, и... изучив дух, свойства и потребности языка, строить на этом основании далее. То же самое предстоит теперь нам [Даль 2002а: 424].

Написать словарь

По образованию Владимир Даль был морским офицером и военным врачом; он также стал инженером, этнографом, лингвистом, чиновником и писателем. Сын датчанина-лютеранина и француженки-гугенотки, Даль родился в Луганске (территория современной Украины), в колонии, которую создали в середине XVIII века выходцы с Балкан. Потом инженер-шотландец нашёл рядом с этой колонией месторождения угля и руды, и отец Даля, учившийся богословию в Германии, приехал в Луганск работать лекарем на горном заводе. Русскому Владимир научился от матери-француженки, которая родилась в Санкт-Петербурге и говорила на пяти языках. Даль прекрасно писал по-русски, но своим интересом к языку он отчасти был обязан иностранному происхождению. Автор самого знаменитого словаря русского языка, Даль проделал большую часть своей огромной работы над ним вдали от русской глубинки. Информацию он получал от солдат, ремесленников и других простолюдинов, вместе с ним участвовавших в имперских походах. Он опубликовал также многотомное издание русских сказок, которые он, по его словам, услышал от простого народа и записал во время путешествий. Вместе с Пушкиным Даль обследовал оренбургские степи, ища свидетелей Пугачевского восстания. Как друг и врач, он был рядом с Пушкиным в последние часы его жизни.

Даль начал работу над словарем в 1819 году во время флотской службы на Балтийском море: беседуя с матросами, он записывал неизвестные ему слова. Он пополнил свою коллекцию, участвуя в кампаниях в Польше, Турции и Средней Азии как военный врач. Основная часть работы по составлению словаря пришлась на годы гражданской службы в Оренбурге, на подвижной границе империи. Как штабной офицер он принял участие в военном походе в Хиву в 1839–1840. Экспедиция была плохо спланирована и обернулась трагическим поражением, но она открыла путь к российской колонизации Средней Азии. Даль завершил Словарь уже в Петербурге, в должности главы Особой канцелярии министра внутренних дел Льва Перовского. В имперской карьере Даля, как и в путях его словаря, творчески сочетались задачи внешней и внутренней колонизации. Его перемещения между географическими точками и бюрократическими офисами повторяли или предсказывали сдвиги между тем, что в этой империи было «внешним» и «внутренним».

Куда бы ни заносил Даля его имперский долг, его беспокойный дух пребывал в глубинах русского языка и фольклора. Прогуливаясь с друзьями перед обедом в их петербургском поместье, Даль встретил человека, который представился соловецким монахом. Распознав поволжский акцент в его речи, Даль смог определить, из какой он губернии и даже из какого уезда. Мгновение спустя монах, оказавшийся беглым крепостным, пал в ноги лингвисту

[Мельников-Печерский 1873: 289]. «Я думаю по-русски, — писал Даль. — Человеческий разум принадлежит тому народу, чей язык употребляет» [Даль 2002b: 258]. Тем не менее на протяжении всей карьеры Даля преследовало враждебное отношение к нему неумеренных националистов, которые знали о его происхождении и считали неправильным, что иностранец и иноверец занимается тайнами русского народа. В 1832 году Даль был арестован за собранные им сказки, в которых власти обнаружили недопустимые политические намёки; могущественные друзья-писатели помогли ему выйти на свободу. В 1844 году Лев Перовский поручил Далю написать исследование о скопцах, которые кастрировали себя и своих последователей ради благочестивой жизни. Когда Николай I обнаружил, что автор исследования — лютеранин, он приказал Перовскому найти православного автора для столь щекотливого предмета; статью переработал и подписал Надеждин. В 1844 году Перовский нашёл для Даля новое поручение: исследовать старинный вопрос о том, совершают ли еврейские подданные империи ритуальные убийства. Чиновники дали утвердительный ответ, а исследователи до сих пор спорят, был ли к этому меморандуму причастен Даль. Не совсем понятно, как он мог быть непричастен: он был одним из высших руководителей министерства и курировал там этнографические и сходные с ними работы. Однако этой записке, как и другим экстремистским начинаниям, исходившим из министерских недр, не был дан ход.

В поздний период работы Даля принимают антипросвещенческое направление. Начав с возражений против того, что русский язык портят иностранными словами, он дошёл до сомнений в пользу грамоты для простого народа. Историк Александр Пыпин заметил о Дале и его круге: они «догадывались, что между жизнью образованного класса и жизнью народа есть какой-то разлад, и думали, что он может быть покрыт и изглажен культом народности, но они совсем не понимали, как это может с делаться... Этнографы и писатели этой школы, на словах великие любители народа, на деле не раз становились к нему в ненавистное отношение соглядатаев и сыщиков (в делах по расколу)» [Пыпин 1890, т. 1: 418–419]. Двоюродный брат Чернышевского, Пыпин относился к министерской этнографии как к культу народности, самооправданию власти, своего рода этномифологии. Словарь Даля, огромный успех его жизни, также стал мишенью для возражений и сомнений. Одни критики обвиняли Даля, что он сам придумывал слова; другие прославляли словарь как памятник богатству русского языка. Спор продолжился в XX веке: Владимир Набоков восхищался словарём и постоянно пользовался им, а Борис Пастернак высмеивал его искусственный язык. Перед смертью Даль, поклонник Сведенборга и убеждённый спирит, организатор опытов с вращающимися столами, и вызовом духов, принял православие.

В 1848 году Перовский попросил Даля уничтожить свои записки, так как в это беспокойное время их содержание могло быть небезопасно для чиновника столь высокого ранга. Даль повиновался и сжёг сотни страниц ценнейшего материала. Немногие сохранившиеся страницы показывают автора с неожиданно меланхолической стороны. Преследуемый подозрениями и обвинениями, Даль находил утешение только в семейной жизни, поддержке начальства и смирении:

Счастливый семьянин, обеспеченный милостью министра внутренних дел в домашних нуждах моих, я должен с безмолвною покорностью выслушивать оскорбительные для верного гражданина и подданного обвинения, должен молча отдать лучшую часть моего доброго имени, моей чести! Чувства и помышления наши скрыты; человеку не дано средств разоблачать их перед судьями и свидетелями, для убеждения в нравственной чистоте своей и непорочности; но человеку дана покорность в несчастьи, терпение и непоколебимая вера в будущность [Даль 2002b: 262].

Эти печальные медитации звучат так, как будто услышаны от матери-гугенотки; их удивительно встретить среди заметок неуспевающего чиновника на службе империи. Если бы

Даль под нажимом начальника не уничтожил свои бумаги, у нас было бы больше таких текстов. Исполняя дисциплинарную власть над огромной империей, этот образцовый интеллектуал думал и писал под постоянным давлением внешних подозрений и внутренних сомнений. Изучал ли он русских или изобретал их? Имел ли он право на то и другое? Его власть и его труд — были они или слыли? Восхищаясь языком простого народа и посвятив всю жизнь записи этого языка, он отказывал тому же народу в праве на образование. Воплощая в себе истинно имперские, космополитические таланты и навыки, он использовал их для того, чтобы учить национальной ограниченности и высокомерию.

В России середины XIX века сентиментальность превращалась в гротеск, и эта их близость тоже была частью имперского опыта. Заманчиво представить себе, как гоголевский майор Ковалев приходит в Министерство внутренних дел и просит у Даля вице-губернаторской должности. Даль беседует с Ковалевым, отмечая его провинциальный акцент, и оба они спокойно следят за своими непослушными частями.

Система нежности

Профессор восточных языков, чиновник Министерства внутренних дел, колониальный администратор киргизской орды и главный цензор империи, Василий Григорьев (1816–1881) применил свои знания в области востоковедения к разным задачам власти. Развивая проекты внешней и внутренней колонизации, он смешивал их так, как казалось нужным ему и его начальникам. Григорьев был типичным востоковедом XIX века: он окончил отделение восточных языков Петербургского университета, ссорился там с Сенковским, говорил на нескольких азиатских языках и писал о многом, от археологии до современной ему литературы. В 1837 году молодой Григорьев представил в Учёный совет Петербургского императорского университета проект нового курса «История Востока»:

Распространение и усиление в России восточных занятий... придало бы нам самостоятельности и, служа противодействием перевесу западных начал, угнетающих наше национальное развитие, содействовало бы его укреплению и быстрейшему ходу... Лучшее средство противодействовать влиянию Запада — это опереться на изучение Востока [Веселовский 1887: 33].

Профессией Григорьева был ориентализм, а основным призванием — национализм. Русским необходимо было изучать Восток, потому что это давало возможность понять себя в противопоставлении Западу. По своим воззрениям Григорьев постоянно оказывался ещё большим ястребом, чем его начальники; в тот раз его программа была отвергнута. С 1844 года Григорьев — на службе Министерства внутренних дел. Он помогал Надеждину издавать Журнал министерства и писал статьи на такие разные темы, как положение крестьян в центральных губерниях, книгопечатание в Риге и недавно открытые секты в иудаизме. Хасидов, по Григорьеву, отличают «крайнее невежество и безграмотность»; что касается «секты талмудистов», как он называл ортодоксальных иудеев, они представляют «опасность для России» и являются «несчастьем человечества» [Григорьев 1846]. В 1847 году Григорьев вместе со своим другом и коллегой востоковедом Павлом Савельевым купили издававшийся в Петербурге журнал «Финский вестник» и переименовали его в «Северное обозрение». Среди авторов нового журнала был Михаил Петрашевский, которому скоро предстояла сибирская каторга. Случайно или нет, но именно в то время, как Липранди внедрял к петрашевцам своего агента, Григорьев публиковал статьи и переводы участников этой же группы. В «Северном обозрении» он также пропагандировал взгляды Гакстаузена на Россию [Seddon 1985: 267]. В 1848 году Григорьев был отправлен в центральные губернии с поручением выяснить, что дворяне и крестьяне говорили о революциях в Европе. В следующем году он ревизовал риж-

ские книжные магазины, самоотверженно конфисковал 2 тысячи запрещённых книг и заболел, надыхавшись книжной пылью.

По приглашению Василия Перовского в 1851 году Григорьев перешёл на службу в Оренбург — настоящий Восток, ставший частью России. До 1863 года он служил в губернском правлении и возглавлял пограничную экспедицию на киргизской (казахской) границе; другие его должности там назывались более экзотично, например «главноуправляющий внутренней ордой оренбургских киргизов». Живя бурной жизнью колониального администратора, Григорьев организовывал карательные экспедиции и участвовал в рейдах. Он наносил на карту границы оккупированных территорий, арестовывал бунтовщиков, писал законы, учреждал суды и вел расследования. Все эти многочисленные дела Григорьев исполнял, не имея ни юридического образования, ни военного опыта. Он был ориенталистом, изучал «азиатцев» и любил при случае напомнить, что он профессиональный университетский востоковед. «Как ориенталист я, на беду мою, понимаю Азию и азиатцев, а те, которые руководят моими действиями, не знают аза ни в том, ни в другом», — писал он из Оренбурга в 1858 году. «Степь киргизская трепещет передо мною: так и сажаю султанов под арест, отставляю от должностей, ловлю разбойников, но, увы, к крайнему моему огорчению, вешать их не имею власти». Оправдывая свои несколько однообразные действия, Григорьев прибегал к научному знанию. Во время волнений среди киргизов он сообщал в личном письме: «Придумал я отличнейшее средство... глубоко макиавеллиевская штука, которою я обязан тому, что „книжки читал“, а не состарился чиновником с люльки. Да здравствуют „книжки“!» Этой «штукой» была новая серия карательных мер. В возбуждении он помещал самого себя где-то между Чингисханом и Липранди:

Знай, что Чингис-хан теперь мне нипочем. Сам я приобрел великолепную киргизскую шляпу, отпустил усы и нечто вроде бороды, сижу в халате и, в таком великолепии, зрю у ног своих трепещущими потомков сего грозного завоевателя... Теперь в одно время произвожу я следствие по шестнадцати делам! Это *a la* Липранди [Веселовский 1887: 134, 139, 118].

Григорьев верил, что, будучи профессиональным востоковедом, он стоит выше и видит дальше, чем другие чиновники: «Что бы случилось с этими господами, если бы в самом деле затеялось в краю нашем что-нибудь серьезно-опасное?» В ответ его коллеги, большей частью из военных, считали Григорьева экстремистом и ограничивали его действия. Когда в степях началось очередное восстание, Григорьев обвинял свое начальство в мягкости: «Эта система нежности привела управление киргизами к тому же результату, к которому привела и Россию уступчивая политика ее с Европою». Экзотизируя коренное население, Григорьев представлял его столичной публике, играя расистскими стереотипами. Он предлагал послать на коронацию Александра II «несколько благообразных фигур в расшитых золотом высоких шапках и парчевых или бархатных с богатым галуном кафтанах» [там же: 140, 146]. Именно академическое образование Григорьева сделало его ещё большим ястребом в колониальной политике, чем военное — его коллег-офицеров. В конце концов наш востоковед поссорился с генерал-губернатором Василием Перовским и подал в отставку. Но пока он был в оренбургской степи, он успел принять скандальное участие в столичной литературной полемике. Одна из его статей, длинные и неуважительные воспоминания о его покойном однокурснике, историке-европеисте Тимофее Грановском, вызвала бурю в научном мире. Отрицая успехи Грановского и говоря о его пьянстве, Григорьев заявил в этой статье, что российским учёным нужно повернуться спиной к западной истории и литературе. Только востоковедение нужно России, и только в этой области российская наука превосходит европейскую. «Грязнейшим из грязных людей» назвал Григорьева ведущий либеральный мыслитель Борис Чичерин [Пирожкова 1997: 146].

Конечно, ориентализм Григорьева был нетрадиционным [Knight 2000; Schimmelpenninck 2010]. Используя профессиональные знания, Григорьев трудился во имя имперского доминирования над восточными и западными колониями и над самой имперской нацией. Старший современник Курца из «Сердца тьмы», он всем — и жестокостью, и учёностью, и этномифологическими увлечениями — был похож на него, только работал не на Компанию, а на саму Империю, и потому сделал куда большую карьеру. Немедленно после своего скандального возвращения из Оренбурга Григорьев стал профессором восточных языков в Петербургском университете. Он также участвовал в работе нескольких комиссий Министерства внутренних дел: по азиатской торговле, по налогообложению киргизов, по наблюдению за студентами университетов, по каторжным тюрьмам. В 1872 году он вошёл и в «еврейскую комиссию», которая рассматривала предложения по отмене черты оседлости. Мнение Григорьева было основано на «научном» знании вопроса: «Все зло заключается в том, что евреи не хотят существовать теми средствами, как остальное народонаселение, не хотят заняться производительным трудом». Разрешить евреям жить вне черты оседлости опасно для всех народов России, писал он в другой антисемитской записке. «Кто раз очутился во власти евреев, того они из рук уже не выпустят» [Веселовский 1887: 251].

В конце 1874 года Григорьев был назначен начальником Главного управления по делам печати, совмещая этот пост верховного цензора империи с кафедрой истории Востока Петербургского университета. Он контролировал открытие новых периодических изданий и надзирал за уже выходящими, определял процесс прохождения ими цензуры и систему штрафов за нарушения введённых им порядков. Он разрешил Достоевскому публиковать «Дневник писателя» без предварительной цензуры, но больной и опальный Некрасов молил Григорьева о снисхождении. Когда недовольный журналист явился на приём к Григорьеву пожаловаться на закрытие своей газеты, цензор отвечал ему так, что журналист сам себе показался киргизом, которого Григорьев бросил умирать в степи [Градовский 1882: 499]. Григорьев вмешивался в государственную политику в отношении украинского языка, который предпочитал называть «малороссийским наречием». В длинной записке он объяснял, что наложил запрет на украиноязычные публикации в ответ на угрозу сепаратизма: «Допустить создание особой простонародной литературы на украинском наречии, значило бы поэтому содействовать отчуждению Украины от остальной России» [Веселовский 1887: 265]. Почти в то же самое время, в 1876 году, Григорьев был организатором и председателем Международного съезда востоковедов в Санкт-Петербурге, открыв его речью на французском языке.

Идеи и карьера Григорьева шире, чем ориентализм в понимании Саида. Вероятно, лучшим определением их было бы слово Салтыкова-Щедрина, «ташкентство» — российская версия имперского бумеранга, которая переносила ориенталистские методы правления на имперскую нацию. В Санкт-Петербурге и Оренбурге знания и взгляды Григорьева были востребованы властями на самом высоком уровне, потому его карьера и получилась такой успешной. Перейдя из университета на службу в Министерство внутренних дел, оттуда в колониальную администрацию на востоке империи, потом вернувшись к академическому востоковедению и поднявшись до позиции всероссийского цензора, Григорьев сделал успешную карьеру имперского чиновника, чьи разнообразные обязанности полностью основывались на ориентализме. Действительно, что для Григорьева не было Востоком? Конечно, киргизы представляли собой Восток и в таком качестве подходили для ориенталистского управления. Но это же касалось украинцев, и евреев, и каторжников по дороге в Сибирь, и столичных студентов, чьи волнения давали повод применить к ним степной опыт Григорьева. Ну и конечно же сюда относились литераторы Петербурга и Киева, выстроившиеся перед ним и дрожавшие то ли от страха, то ли от ярости, как киргизы. У Владимира Даля внутренняя колонизация вела к положительной версии ориентализма — стереотипным суждениям о моральном превосходстве экзотизированных «простых людей», русских и казаков. У Василия Григорьева ори-

ентализм действовал напрямую, дискриминацией и принуждением, но только, «к крайнему огорчению» востоковеда, без права вешать туземцев. Зато он мог казнить книги.

В течение Высокого Имперского периода внутренние дела России были непосредственным образом связаны с литературой. Хлестаков в «Ревизоре» не зря хвастался дружбой с Пушкиным, она открывала ему двери и сердца. Высшие чиновники министерства поддерживали тесные отношения с известными писателями даже после того, как блестящий Лев Перовский, человек, который хотел «не слыть, а быть», покинул свой пост. Как мы помним, министр Перовский был братом писателя Антония Погорельского; его преемник Сергей Ланской был женат на сестре писателя Владимира Одоевского; преемник Ланского — Петр Валуев (сам автор романов) был женат на дочери писателя Петра Вяземского. Известные персонажи произведений Толстого служили в Министерстве внутренних дел: Каренин руководил там орошением полей и переселениями инородцев, Иван Ильич выполнял поручения по делам раскольников. Исполняя служебный долг, интеллектуалы империи отдавали себе отчёт в противоречивом характере своего положения; трудясь столоначальниками и ревизорами, они продолжали писать и страдать, как романтические писатели.

Работая по поручению министерства в глуши на границе Ярославской и Костромской губерний, Иван Аксаков писал родным:

Как другой в вине, в пьянстве запоем находит себе утешение, так и я ищу забвения и утешения в служебной работе. Кругом целый ряд вопросов неразрешимых или таких, которых представляющееся уму решение страшно, нежелательно [Аксаков 1994: 175].

Представляя себе по сильно устаревшей традиции, интеллигенцию и бюрократию наподобие двух эндогамных племён, ритуально избегающих друг друга, мы с удивлением обнаруживаем множество пересечений, сношений и перевоплощений. В XIX веке реалистический роман стал ведущим жанром национализма во всем Западном полушарии [Anderson 1991]. То же произошло и в России, но, несмотря на националистические мотивы некоторых русских романов, русская литература играла не разделяющую, а объединяющую роль. В большей степени, чем любой другой аспект имперской культуры, литература приняла на себя Бремя британского человека и достойно несла его. На просторах огромной империи культ Пушкина стал общим вероисповеданием тех, у кого не было ничего общего. В «Идиоте» Достоевского два случайно встретившихся героя, обедневший князь и купец-старовер, перечитывают вместе «всего Пушкина». Российский бунтарь Владимир Ленин изучал Пушкина в гимназии, где русскую словесность преподавал отец его будущего соперника, Александра Керенского. Ленин любил перечитывать Салтыкова-Щедрина и (что более удивительно) Тургенева [Валентинов 1953]. Еврейский бунтарь Владимир (Зеев) Жаботинский писал в воспоминаниях, что к 14 годам знал «всего Пушкина» и ещё Шекспира в русском переводе. Это не мешало ему отмечать имперские и антисемитские мотивы у Пушкина и других русских классиков [Жаботинский 1989]. Польский бунтарь Аполлон Коженевский, отец Джозефа Конрада, написал свою главную пьесу по образцу грибоедовского «Горя от ума». Когда русские народники, еврей-сионисты и мусульманские активисты встречались в царских тюрьмах, они обсуждали творчество великих русских писателей, от Пушкина до Толстого. При взгляде назад русская литература кажется необычайно успешным инструментом культурной гегемонии. С ее классиками, еретиками и критиками, русская литература завоевала больше почитателей среди русских нерусских и врагов России, чем другие имперские предприятия. Стандартизовав язык, создав общий круг значений и этим объединив своих многоязычных читателей, литература оказалась очень ценным достоянием. Цари и цензоры это редко понимали и ценили. Поэтому империя рухнула, но литература пережила ее.

Глава 9. История приходит к Канту

«Трава необходима скоту, а скот человеку», — писал Кант в «Критике способности суждения». На следующий вопрос ответить было труднее: «Почему же нужно, чтобы люди существовали?» Не дав пока общего ответа, Кант обращал взгляд на север и задавал себе тот же вопрос специально о «гренландце, лапландце, самоеде, якуте и т. д.». В этих частных случаях ответ кенигсбергского философа был отрицательным: «Не ясно, почему люди вообще должны там жить... Лишь величайшая неуживчивость людей привела их к поселению в таких негостеприимных краях» [Кант 1994, т. 5: 210–220].

Постколониальный философ Гаятри Чакраворти Спивак показала, что, хотя читатели Канта понимают его философию как относящуюся ко всему человечеству, сам Кант проводил границу между дикарями и разумными людьми и писал свою философию исключительно о последних: «Субъект как таковой у Канта геополитически дифференцирован» [Spivak 1994]. Действительно, вопрос «Зачем людям существовать?» отличается от вопроса «Зачем людям жить на Таити или в Сибири?» По логике Канта, живя в Кенигсберге, общаясь и размышляя, люди могут реализовать цель своего существования. Но в таких местах, как Якутск, «неуживчивые» люди не могут понять самих себя, и их жизнь лишена цели. Тем не менее люди всегда ездят в такие места за мехами, нефтью или алмазами. И тут возникает следующий вопрос: кто должен жить в таких негостеприимных, но прибыльных землях — коренное население без смысла существования, или пришлые люди, чья жизнь наделена смыслом, или те и другие, в некоем иерархическом порядке?

Кенигсберг

В этой части света Средние века начались бурно, а кончились тихо. Основанный Тевтонским орденом монахов-крестоносцев, Кенигсберг на века стал предметом раздоров между немцами, славянами и балтийскими народами. Но потом Северный крестовый поход, пушная торговля и, наконец, Ганзейский союз — все закончилось. Несколько северных войн в XVIII веке завершились триумфом России [Frost 2000; Scott 2011]. Теснее, чем где бы то ни было, военное покорение этих земель соединилось с поглощением местных элит. Начиная с Петра I Романовы находили себе супруг и наследников на балтийском побережье. В начальный период существования Российской академии наук (открытой в 1725 году) четверо из пяти ее президентов вышли из Кенигсбергского университета [Костяшов, Кретинин 1999].

Во время Семилетней войны (1756–1763) Россия аннексировала Восточную Пруссию. Это случилось после серии панъевропейских переговоров и переделов традиционных союзов, которые историки называли «дипломатической революцией» [Kaplan 1968]. Прусский король Фридрих заключил союз с Англией, разрушив обычное для европейской геополитики сотрудничество между Англией и Россией. Теперь против Пруссии, субсидируемой Англией, выступал союз Франции, Австрии и России: такая конфигурация не повторится больше ни в одной войне. Уинстон Черчилль назвал Семилетнюю войну самой первой мировой войной. Ее имперский контекст хорошо изучен [Anderson 2000; Schumann, Schweizer 2008]. Начавшись с нападения юного Джорджа Вашингтона на форт во Французской Канаде, война перекинулась на Старый Свет. Пока Англия и Франция сражались за заморские колонии, другие державы боролись за колонии в Восточной Европе: Австрия хотела Силезию, Россия — Восточную Пруссию.

В прусском Кенигсберге начало военных действий отметили несколько событий, одно страннее другого. В 1757 году российские войска подошли к стенам города, но отступили без видимых причин. Настоящей причиной была ставшая государственной тайной болезнь императрицы Елизаветы [Анисимов 1999]. Пруссаки праздновали победу, но Елизавета поправилась, арестовала командующего своей армией и вернула войска в Пруссию. Фридрих оборо-

нял свою столицу, Берлин, и когда российская армия вновь появилась у ворот города, Кенигсберг последовал примеру Риги, которая в 1710 году согласилась стать частью Российской империи, чтобы избежать кровопролития. Аннексировав Восточную Пруссию, Россия «навсегда» объявила ее своим владением. 24 января 1758 года городские чиновники присягнули на верность Российской империи. Кенигсберг и близлежащие земли стали колонией Российской империи, и мало кто сомневался, что они навсегда останутся ее частью, а местным жителям, отныне российским подданным, придётся приспособиться к новому порядку.

Российская армия была полиэтничной, как и подобает имперскому институту. Во главе ее стояли балтийские немцы, пехоту составляли в основном русские, а вездесущая лёгкая кавалерия включала казаков, калмыков и башкир, которыми командовали их соплеменники. Фридрих Великий объяснял атакующую мощь российской армии «многочисленностью татар, казаков и калмыков в их рядах» [Вульф 2003: 261]. Позже Кант считал калмыков особой расой, наряду с неграми и американскими индейцами [Кант 1994, т. 2: 325–344]. Исследователи, кажется, ещё не обращали внимания на эту необычную расовую классификацию; она основана на собственных впечатлениях Канта от калмыков, которых он видел в Кенигсберге во стане российских воинов.

Военная революция XVIII века с опозданием пришла в Восточную Европу [Frost 2000], но российская армия использовала новейшие достижения артиллерии, например «секретные гаубицы», только что изобретённые графом Петром Шуваловым. Они имели необычное дуло в форме горизонтального овала и стреляли картечью веером над головами своих солдат. За раскрытие их секрета полагалась смертная казнь, но потом Фридрих захватил эти гаубицы, не нашёл в них ничего ценного и выставил в Берлине на посмешище. Российская армия по-прежнему полагалась на лёгкую кавалерию и этнические соединения. Самим русским эта восточная конница казалась дикой и страшной. Офицер российской армии Андрей Болотов был поражён, увидев, как эти «странные», «полунагие», привычные «есть падаль лошадиную» воины вырезали население немецких деревень ради славы российской короны [Болотов 1986: 124]. Калмыкам было разрешено грабить старые прусские арсеналы. Вооружённые средневековыми саблями, в доспехах и шлемах, они должны были выглядеть смехотворно; но мало кто смеялся на этой войне. Для калмыков то были последние годы их российской службы: в 1771 году они покинули волжские степи и начали исход в Китай [Khodarkovsky 1992: 182]. Несчастливы были и казаки: в 1773 году они начали антиимперское восстание на Урале под предводительством Емельяна Пугачева, который в Семилетнюю войну сражался в казачьих войсках в Восточной Пруссии. Болотов [Болотов 1986: 125] стал свидетелем того, как пруссаков в гражданской одежде, стрелявших в российских солдат, казнили без суда: двоих российские солдаты публично повесили, одиннадцати диверсантам отрубили пальцы. Ориентализация происходящего, приписывание ответственности за ужасы войны восточным варварам помогали ему сохранять ощущение собственной европейскости.

[Российский] генерал, вошед в Пруссию, крайне удивился, увидев делаемые казаками повсюду разорения, поджоги и грабительства, и с досадою принуждён был быть свидетелем всех жестокостей и варварств, оказываемых нашими казаками и калмыками против всех военных правил... Во всех тамошних местах не видно было ничего, кроме огня и дыма; ...над женским полом оказываемы были наивеличайшие своевольства и оскорбления... Таковые поступки наших казаков и калмыков поистине приносили нам мало чести, ибо все европейские народы, услышав о таковых варварствах, стали и обо всей нашей армии думать, что она таковая же [Болотов 1986: 123].

Российская армия и ее союзники добились быстрых успехов в войне против Фридриха. В 1760 году российские и австрийские войска захватили и разграбили Берлин. Столица пострадала гораздо сильнее, чем Кенигсберг; Фридрих был на грани самоубийства. Болотов

[Болотов 1931, т. 2: 34] слышал, что «берлинских газетиров» решено было «наказать прогнанием сквозь строй за то, что писали они об нас очень дерзко и обидно». Журналисты счастливо избежали шпицрутенов: в последний момент наказание было отменено.

Российская колонизация Кенигсберга, с его тевтонской славой и просвещённым университетом, была кратким, но необычным событием. После смерти Елизаветы в январе 1762 года ее преемник, балтийский немец Петр III, вывел Россию из Семилетней войны и подписал с Фридрихом сепаратный мир. Скорость этих перемен вызывала удивление в самом Санкт-Петербурге. Уже в августе 1762 года Кенигсберг снова стал прусским городом, и Россия готовилась к полному выводу войск из Пруссии. Но тут Петр был свергнут в результате заговора, во главе которого стояла его жена Екатерина, тоже балтийская немка. Российский генерал-губернатор, ещё стоявший в Кенигсберге, издал прокламацию о возвращении к власти. Однако Петр был свергнут не для того, чтобы продолжать войну с Фридрихом. Поколебавшись, Екатерина II отказалась от новой войны и вывела войска из Пруссии. Длинная и победоносная война не принесла России никакой пользы. Кровавые события оказались бессмысленными, как на них ни смотри.

Интрига и мелодрама

Столетия спустя Гитлер в окружённом Берлине часто говорил о Фридрихе и надеялся на новое «чудо Бранденбургского дома» — чудесное спасение от советских войск. Историки и сегодня продолжают обсуждать причины и результаты событий XVIII века, определивших баланс сил в Европе. Кембриджский историк Герберт Баттерфилд назвал эти военные и дипломатические события «интригой и мелодрамой». То было самое насыщенное событиями время за всю историю европейской политики, «за исключением только двух последних десятилетий», писал он в 1955 году. Баттерфилд считал, что европейский заговор против Фридриха с самого начала возглавляла Россия, но король-философ не понял этого, даже когда война закончилась. Не поняли этого и историки: «Внимание историков как будто рассеивается, когда речь заходит о России», — писал автор «Интерпретации истории вигами» [Butterfield 1955: 162, 158]. В более поздних трудах немецкого историка и теоретика Райнхарта Козеллека Семилетняя война все ещё связана с ощущением шока. Козеллек сравнивает начало войны с германо-советским пактом 1939 года, но в итоге события двухсотлетней давности оказываются «исторически непревзойдёнными». В 1968 году Козеллек выбрал Семилетнюю войну, чтобы проиллюстрировать на этом примере роль случая в истории [Koselleck 2004: 118, 124]. Историки согласны в том, что все стороны конфликта продемонстрировали тогда выдающуюся «готовность к неожиданным решениям» [Schweizer 1989: 179, 217; Palmer 2005: 150]. Непредсказуемые факторы — тайная дипломатия, личные симпатии монархов, их клиническое здоровье — сыграли решающую роль в этом противостоянии абсолютистских режимов. Для тех, кто наблюдал за войной из Кенигсберга, она была лишена какого-либо смысла. Если даже современным историкам не хватает метафор, чтобы описать те давние события в Пруссии, что думали о них граждане Кенигсберга, которые не знали о своей войне и малой доли того, что знаем мы сейчас?

Российская оккупация Кенигсберга установила в провинции колониальный режим, который не был уникальным в Европе, но для германских земель был необычен. С 1757 до 1762 года — как это случилось с Ливонией (с 1710 года) и позже с Восточной Польшей (с 1772 года) — Восточная Пруссия была колонией Российской империи. Никто в Восточной Пруссии не мог знать, что российское господство над Кенигсбергом не продлится и пяти лет, так же как никто не мог знать, что оно возобновится столетия спустя.

Оккупировав Восточную Пруссию, российская администрация столкнулась с типичными для колониального режима культурными и политическими проблемами, и решала их как умела. В городе были размещены войска, администрацию возглавил российский гене-

рал-губернатор, была введена российская валюта. Горожане Кенигсберга стали подданными России, чиновники принесли присягу. Елизавета пообещала уважать их традиционные права, в том числе свободу вероисповедания. Налоги военного времени были снижены, но рекрутский набор, жёсткий при Фридрихе, заменили новым налогом. Лишь одну лютеранскую церковь в городе переделали в православную. Особым указом жителей Восточной Пруссии приглашали переселяться в Россию; правда, никаких результатов добиться в то время не удалось [Bartlett 1979: 20; Кретинин 1996]. Этот проект переселения побеждённых во внутренние земли страны-победителя (а не наоборот) необычен для истории имперских завоеваний. Стремясь стать политическим стратегом на службе российской короны, Дени Дидро пропагандировал массовые переселения, используя Семилетнюю войну как пример:

Русские поступили бы правильно, если бы, покидая Берлин, забрали всю столицу с собой — мужчин, женщин, детей, рабочих, промышленников, мебель — и оставили бы голые стены... Если бы такое переселение предложили организовать мне, я бы позаботился, чтобы оно произошло самым упорядоченным способом [Diderot 1992: 112].

Дидро отправил этот ретроспективный совет Екатерине II, вернувшись из России в 1774 году, когда Семилетняя война уже стала историей, но шла другая война, между империей и колонизованными народами южных степей. Философ воспользовался поводом, чтобы рассказать Екатерине, как поступить с пугачевцами: «Что я сказал о пруссаках, то же относится и к казакам». Что хорошо для внешней колонизации, то хорошо и для внутренней. Они не так уж отличаются друг от друга.

Колонизация Кенигсберга натолкнулась на молчаливое сопротивление его жителей. Убеждённые в превосходстве своей культуры, они подчинялись российским оккупантам, но презирали их своим особенным тихим способом. Это ещё один пример отрицательной гегемонии: российская власть над Восточной Пруссией была типично колониальной ситуацией, в которой правители прибегают к принуждению, не сумев убедить коренное население в своем праве на господство или хотя бы в своей способности управлять. Горожане ответили ранним националистическим движением, которое имело огромные последствия для европейской мысли, и после ухода колонизаторов предались беспрецедентным размышлениям о власти, разуме и человечности. Подобный интеллектуальному взрыву, последствия которого отдаются веками спустя, этот короткий эпизод колониальной истории стал точкой входа в глобальную современность. Множество раз повторяясь в разных концах мира, постколониальное состояние почти всегда описывалось со ссылками на тех, кто испытал и понял его в Кенигсберге. Но смысл этих ссылок становится понятен только при лучшем знакомстве с этой местной историей.

Кант

В 1755 году тридцатилетний Иммануил Кант защитил диссертацию и стал лектором Кенигсбергского университета. Его основная работа этого периода, «Всеобщая естественная история», открывается посвящением Фридриху II, «могущественнейшему королю и повелителю» от его «нижайшего слуги». В том же стиле Кант обещает служить своему королю «с высочайшим рвением до дня моей смерти». Король-философ, Фридрих был большим покровителем наук и искусств, и учёные не сомневаются, что Кант искренне обещал ему свое рвение: «Давно известно, что Кант полностью поддерживал программу короля» [Zammito 2002: 58]. Но всего лишь два года спустя Канту пришлось присягать смертельному врагу Фридриха, императрице Елизавете. В этот раз Кант обещал, что будет «верным и покорным Всесветлейшей и Великодержавнейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне... и Ее Величества высокому престолонаследнику». Больше того, он обещал «поддерживать высокие интересы»

российского суверена «с внутренним удовольствием». Далее, если против императрицы или наследника будет что-либо замышляться, он клялся «не только своевременно сообщать обо всем, что направлено против них, но и всеми способами этому препятствовать» [цит. по: Гулыга 1977; см. также: Gulyga 1987: 31]. В 1758 году Кант отправил российской императрице прошение о повышении в должность профессора, подписавшись «Вашего Императорского Величества верноподданнейший раб». Между этими ритуальными конструкциями, обещавшими вечную службу двум смертельным врагам, всего два-три года. Позже Кант назовет «вертушками» людей, быстро меняющих свои убеждения, и именно на такую нехватку автономии поведёт свое великое критическое наступление.

Должность профессора тогда досталась одному из соперников Канта, Даниелю Вейманну. Как считал советский исследователь, причиной неудачи Канта было вмешательство российского офицера Андрея Болотова [Gulyga 1987: 36]. Переводчик при российском генерал-губернаторе, Болотов привёл в университет небольшую группу русских студентов и сам живо интересовался университетскими делами. Открыв для себя философию среди прочих развлечений кенигсбергской жизни, Болотов предпочитал пиетизм тому, что он считал возвращающим и даже преступным влиянием Просвещения. Месяцами он посещал лекции кантовского соперника, Вейманна. Кроме университетских лекций, он «почти ежедневно» брал у Вейманна частные уроки. Вейманн отказался от платы за них, но перед отъездом из Кенигсберга Болотов оставил своему учителю очень русский подарок — «калмыцкий тулуп» [Болотов 1986: 362].

Нам известно только, что Болотову нравился противник Канта. Нет никаких свидетельств, что Болотов повлиял на выбор кандидата на профессорскую должность, хотя, возможно, он был в состоянии это сделать. Вместе Болотов и Вейманн читали работы философов-теологов, таких как Христиан-Август Крузиус, которого Фридрих II объявил личным врагом и изгнал из прусских университетов [Zammito 2002: 272]. При российской оккупации эти правые мыслители снова вошли в моду. Болотов считал, что их моралистическая философия помогала ему дисциплинировать разум, жить нравственной жизнью и отказаться от соблазна светских балов и продажной любви, которые процветали в городе под российской властью [Болотов 1986: 347]. Ясно, что Болотову такие возвышенные теологические наставления были ближе, чем упражнения в естественной истории, которыми в то время занимался Кант. Назвав Вейманна «циклопом» и отказавшись участвовать с ним в публичных дебатах, Кант, наверно, знал о его связях с российской администрацией. Затянувшийся конфликт Канта с Вейманном вспыхнул вновь после их работ об оптимизме; в оккупированном городе этот вопрос был принципиально важным. «Но почему же тебе, предвечному, было угодно, спрашиваю я смиренно, худшее предпочесть лучшему?» — спрашивал Кант в эссе, написанном в 1759 году. Отвечая, он возвращался даже не к Лейбницу, а дальше — к стоикам. Я взываю, писал Кант, ко всякому достойному творению и призываю его воскликнуть: «Слава нам, мы существуем и доставляем радость творцу» [Кант 1994, т. 2: 7, 13]. Это действительно оптимизм, но источник его не мудрость Бога, а солидарность со всеми живыми существами, даже рабами и животными. Что касается Вейманна, то здесь оптимизм Канта оправдался, только ждать пришлось долго: обладателя калмыцкого тулупа уволили из университета 15 лет спустя [Kuehn 2001: 215].

У Канта тоже были высокопоставленные друзья среди пророссийской элиты Кенигсберга. В любой биографии философа упоминается графиня фон Кейзерлинг, хорошая знакомая Канта. В течение десятков лет он учил ее детей, приходил к ней на ужины и называл ее своим «идеалом женщины». Тем не менее их мнения о России, а возможно, и о российской оккупации были противоположны. Тридцать лет спустя их общий друг записал застольный разговор у Кейзерлинг, из которого ясно, что Россия не выходила у этих людей из головы:

Разговор зашёл о политике, и наши офицеры активно ее обсуждали. Мы с Кантом заявили, что русские — наши главные враги... Графиня же придерживалась другого мнения... «Если бы мой муж был жив, он бы обязательно объяснил королю методом конкретной дедукции, что Россия — наш лучший союзник»... Я до сих пор не могу поверить, что в Восточной Пруссии у них не было никаких интересов... Но графиня не изменила своего мнения [Kuehn 2001: 337–338].

Записки Болотова не оставляют сомнений в том, что в 1759–1760 годах фон Кейзерлинг была любовницей российского генерал-губернатора Пруссии барона Николая фон Корфа и что об этом знал весь город [Болотов 1986: 289]. Балтийский аристократ, фон Корф говорил, но не писал по-русски. Он был приближен к императрице, а в Кенигсберге его власть была такова, что Болотов с усмешкой называл его вице-королем; он знал, что так называли британских наместников Индии. После службы в Кенигсберге Корфа назначили генерал-полицеймейстером Санкт-Петербурга, а позже и всей России: опыт внешней колонизации вновь признавался равноценным внутренней полицейской службе. Богатый и взбалмошный холостяк, фон Корф не пропускал случаев задать бал или устроить маскарад в честь графини фон Кейзерлинг. На эти празднества съезжались знаменитости, в том числе Григорий Орлов, герой русско-прусской войны, который вскоре стал фаворитом Екатерины Великой. Заманчиво представить себе разговор Канта с Орловым, «человеком колоссального роста» но, по словам одного англичанина, «не усовершенствованного чтением» [Вульф 2003: 351]. Низкого ростом Канта звали тогда «галантным магистром»; он модно одевался и был популярен если не на балах, то на ужинах. В его работах и лекциях того времени видны признаки разочарования философией и интеллектуальной жизнью, начало «кризиса среднего возраста» [Zammito 2002]. Историк Антони Ла Вопа находит «элементы насмешки над собой и даже ненависти к себе» в лекциях Канта этого периода [La Vopa 2005: 17]. Не всегда замечая это, исследователи кантовского кризиса говорят о периоде, совпадающем со временем русской оккупации Кенигсберга. К прочим объяснениям этого важного, хотя и временного кризиса нужно добавить и постколониальное. Под властью колониального режима интеллектуалы часто испытывают похожие чувства — раздвоение, сомнения, ненависть к себе, писчий спазм. Из таких ситуаций, в Алжире и по всему миру, вышла значительная часть экзистенциальной мысли XX века. Возвращая Канта в контекст оккупированного Кенигсберга, мы начинаем понимать его связь с этой традицией.

Кроме преподавания в университете, Кант обучал географии, прикладной математике и пиротехнике российских офицеров, говоривших по-немецки, таких как Орлов и Болотов. Очевидно, за это ему платили. После того как российские войска покинули город, Кант продолжал обучать тем же предметам уже немецких офицеров. В эти годы Кант работал над дисциплинами, которые можно было с одинаковым успехом преподавать как пруссакам, так и русским. Во время оккупации он почти ничего не публиковал. За пять лет российского правления увидели свет лишь несколько его эссе на весьма специфическую тему: о землетрясениях. Географически землетрясения были очень далеки от Кенигсберга, но метафорически эти необъяснимые и бессмысленные катастрофы были близки миру Канта. Вольтер, который провёл часть Семилетней войны в Берлине, развивал похожие темы — лиссабонское землетрясение, Семилетняя война, теодицея — в «Кандиде» (1759).

Была ли причиной тому тревога или травма, но российская оккупация для Канта стала периодом творческого кризиса. Сразу после неожиданного окончания оккупации, в 1762–1763 годах, кризис прекратился. «Поразительно, — пишет Джон Заммито, — что Кант опубликовал столько работ за такое короткое время, учитывая, что за шесть предыдущих лет вышло так мало» [Zammito 2002: 61]. Не менее поразительно, что Заммито и другие замечательные учёные не видят наиболее очевидной причины этого феномена — российской оккупации

и ее окончания. Под властью России Кант был тем самым субалтерном, который не мог говорить. Или, точнее, публично он мог говорить только о землетрясениях.

Болотов

От Исаяи Берлина до Джона Заммито работы о Канте очень высокого качества. Но учёные не замечали влияние, оказанное на Канта российской оккупацией Кенигсберга, и обходили вниманием важный первичный источник: записки Андрея Болотова. Хотя многие биографы Канта упоминают Болотова, они знают о нем из единственной англоязычной биографии Канта, написанной российским автором [Gulyga 1987]. Крупный советский философ, Арсений Гулыга описывал российскую оккупацию лёгкими штрихами, как безобидное событие с ничтожными результатами. Говоря о Болотове, Гулыга не без гордости выбирал эпизоды, иллюстрирующие его власть над Кантом, и обошёл молчанием его мучительные отношения с пруссаками.

Кроме своих необычайно обильных трудов, которые изданы лишь частично [см.: Newlin 2001: 4], Болотов был типичным человеком эпохи Просвещения: небогатый офицер, натуралист-дилетант, успешный администратор, который впоследствии управлял тысячами дворцовых крестьян в Подмоскowie. Его отец, тоже офицер, командовал элитным полком в оккупированной Прибалтике. Там Болотов так хорошо выучил немецкий, что в Кенигсберге пытался казаться носителем языка. Переводчик, коллекционер, художник-акварелист, Болотов хотел стать настоящим европейцем; редкий русский автор признавался в этом желании с такой искренностью. Получив приказ возвращаться из Кенигсберга в Россию, Болотов был в отчаянии. Уйдя в отставку, он применял полученные в Пруссии навыки и идеи на собственных крестьянах; позже он стал управляющим огромным, в несколько волостей, собственным имением Екатерины II в Тульской губернии. Тут, в Центральной России, он создал пруды и парки в прусском стиле и был одним из первых, кто начал сажать картофель. Вспоминая о Кенигсберге через десятки лет после возвращения из Пруссии, Болотов считал, что немцы превосходят русских в модах, причёсках, кулинарии, школах, книготорговле и многом другом. Как это было свойственно российским колонизаторам, героям отрицательной гегемонии — кавказцам, ташкентцам, сибирякам, — Болотов досконально знал детали туземной жизни и страждал узнать ещё больше. Все это не мешало исполнять ему свой офицерский долг за границей и обязанности управляющего дворцовыми крестьянами на родине. Наполняя многие страницы похвалами пруссакам, о русских он писал с аристократическим безразличием, не вдаваясь в детали: «Глупость и крайнее безрассудство нашего подлого народа были нам слишком известны» [Болотов 1986: 604]. В тульских имениях он изучал на местном материале ботанику, экономику и медицину; для этнографии время ещё не пришло. Экспериментируя над крестьянами, он подверг полторы тысячи человек лечению электрошоком. Результаты этого его опыта пока остаются неизвестными.

Раскрывая точку зрения колонизирующего государства, записки Болотова отличаются от прусских свидетельств о тех же происшествиях, которые передают скрытые транскрипты колонизованных [я пользуюсь здесь понятиями из: Scott 1990]. Интересным событием периода оккупации была пожарная тревога во время службы в Замковой церкви. Она запомнилась тем, что паника в церкви, приведшая к гибели трех человек, оказалась беспочвенной: пожара не было. За несколько месяцев до того профессор богословия Даниель Генрих Арнольдт (1706–1755) прочитал в церкви проповедь, которую русские восприняли как оскорбление императрицы Елизаветы. В проповеди Арнольдт цитировал стих о внутреннем свете из Книги Михея: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня» [Мих. 7: 8]. Болотов помнил только, что пастор «заврался» и «проболтал некоторые неприличные слова против нашей императрицы». Арнольдт был арестован и провёл шесть месяцев под следствием; в тюрьме пастор, по словам Болотова, «терпел за то

превеликое истязание». Чтобы избежать ссылки в Сибирь, Арнольдт пообещал публично отречься от своих слов. Но едва он начал проповедь в Замковой церкви с требуемым отречением, студенты закричали: «Пожар!» Началась паника, и отречение не состоялось. Мы знаем об этом из прусских источников [Kuehn 2001: 113; Kuehn, Klemme, б. г.]. О панике в церкви писал и Болотов, но помнил он только ее печальный итог: «множество» горожан были ранены или изуродованы, а одна женщина погибла, выпрыгнув из церковного окна. Описывая оба события друг за другом — арест «любимейшего» пастора за его проповедь и ложную тревогу в церкви, Болотов не объясняет их связи друг с другом, хотя сама эта смежность говорит о ней. Паника, считает Болотов, произошла из-за угольных «согревательниц», которые «зажиточные жительницы» Кенигсберга приносили с собой в церковь и ставили на пол под юбками. Болотов запомнил ещё беспокойство коллег-офицеров за российский пороховой арсенал в подвале Замковой церкви, из-за чего паника перекинулась и на русских [Болотов 1931, т. 1: 518]. На этой службе, наверно, присутствовал и Кант. Он должен был знать Арнольдта, который выпустил свою «Историю Кенигсбергского университета» в 1746 году, когда его оканчивал Кант; позже Арнольдт ещё и стал директором пиетистской школы, в которой Кант учился. «Смотреть глазами государства» — значит объективировать событие так, что протекание его описывается правильно, а значение и контекст игнорируются. Напротив, взгляд колонизованного задерживается на смыслах события и намерениях его участников, которые переплетаются в насыщенном, трагичном, срывающемся в панику рассказе.

Несмотря на свое владение немецким, Болотов не разделял чувств и не понимал текстов, которыми туземцы-пруссаки отвечали на российское господство. Ему пришлось признать, что немцы не считают его равным. В канцелярии генерал-губернатора он работал вместе с пруссаками и чувствовал себя чужим:

...о вступлении ж [с прусскими чиновниками] в какие-нибудь разговоры и помыслить было не можно. Сверх того, не только сии господа, но и все лучшие жители города Кенигсберга вообще имели как-то некоторое отвращение от всех нас, русских... Хотя я, оказывая... возможнейшее учтивство, всячески старался с ними сколько-нибудь поближе познакомиться, однако все мои старания были тщетны. Они соответствовали мне таковыми ж только учтивостями, но более сего не мог я ничего от них добиться [Болотов 1986: 221].

Уязвлённый таким отношением, Болотов продолжал размышлять о том, почему они его отвергают. С кантовской чёткостью он провёл границу между своим стереотипным представлением о немцах и их реакцией на российских оккупантов:

Но после, как узнал короче весь прусский народ и кенигсбергских жителей, то перестал тому дивиться и приписывал уже сие не столько их нелюдимости, сколько общему их нерасположению ко всем россиянам, к которым хотя наружно оказывали они всякое почтение, но внутренне почитали их себе неприятелями [там же: 221].

Каждое воскресенье Болотов проводил в прусских кафе и биргартенах, которые нравились ему за «благочиние, тишину и всякую благопристойность». Застенчивый и настороженный со своими соотечественниками, он никогда не скучал в прусской компании. Все там были «вежливы», «учтивы» и даже «кротки», а именно эти черты характера Болотов демонстрирует читателям как свои собственные. Он понимал, что кафе и пивные сады, ранее ему неизвестные, были общественными клубами и местами обмена информацией. Некоторые его наблюдения напоминают нам об идее «публичной сферы», которую историки высказали, применительно к тем же кафе, почти двести лет спустя.

Пруссаки были правы, опасаясь Болотова. Он был штабным офицером имперской армии и, пытаясь выдать себя за немца, всегда беспокоился о российских интересах. Он старался, и постепенно его культурные навыки становились лучше. Он был хорошим шпионом.

...сперва все господа пруссаки меня, как российского офицера, дичились и убегали, но как скоро начинал я с ними говорить ласково по-немецки, то они, почитая меня природным немцем, тотчас делались совсем иными и отменно ласковыми. ...И как я охотно давал им волю обманываться и почитать себя немцем, а иногда с умысла подлаживая им в их мнениях, тем ещё больше утверждал их в сем заблуждении, то нередко случалось, что я через самое то узнавал от них многое такое, чего бы иначе не можно было узнать и проведать, а особливо из относящихся до тогдашних военных происшествий. О сих были они так сведущи, что я не мог довольно надивиться... Нередко слышал я от них о иных вещах недели за две или за три до того, как писано было в газетах [Болотов 1931, т. 1: 462].

Однажды генерал-губернатор предложил Болотову арестовать прусского аристократа, уличённого собственным слугой в антироссийских настроениях. С помощью отряда казаков Болотов выполнил эту миссию, и графу пришлось отправиться на суд в Петербург вместе со своим обличителем [Болотов 1986: 370]. В это же время Болотов часто заходил в один из кенигсбергских книжных магазинов — возможно, тот самый, где чуть позже начал работать Гердер. Болотов любил немецкие книги и считал, что они улучшают его нрав:

[Читая романы], я узнал и получил довольно понятие о разных нравах и обыкновениях народов и обо всем том, что во всех государствах есть хорошего и худого... Не меньшее ж понятие получил я и о роде жизни разного состояния людей, начиная от владык земных, даже до людей самого низкого состояния... Я начинал смотреть на все происшествия в свете не какими иными, а благоднейшими глазами... [там же: 280].

Болотов считал, что агрессивность — недостаток человеческого характера, и ему не нравились ее проявления ни в самом себе, ни в других. Его начальник, генерал-губернатор фон Корф, был особенно вспыльчив, и Болотову были отвратительны проявления его гнева. Чтение романов сделало Болотова более сдержанным. Он чувствовал, что преодолел себя, и теперь мог контролировать свою реакцию даже тогда, когда его обокрал слуга. Болотов с гордостью приписывал этот самоконтроль влиянию немецких романов и философии:

Я пытался соблюдать те самые правила, которые предписывали мои книги, и должен сказать, что мне удалось переменить себя самого за одно лето, так что я перестал быть на себя похожим, и многие этому истинно удивлялись [там же: 304].

Осуществив в себе эту перемену тем далёким прусским летом, Болотов и десятилетия спустя, когда он писал свои записки в тульском поместье, не уставал подчёркивать ее и удивляться ей. Эта переделка себя под влиянием чужой культуры, которую Болотов сам должен был контролировать, до сих пор удивляет. Осуществляя политическую власть над пруссаками, он обнаружил, что глубоко от них зависит. Доминировал он, гегемония принадлежала им. Обе стороны вышли из равновесия.

Камеры и фейерверки

В оккупированной прусской деревне Болотову попался на глаза оптический инструмент — коробка с маленьким отверстием. Свет, попадая на внутреннюю сторону коробки, давал перевёрнутое изображение. Этот инструмент назывался «прошпективический ящик», или, более поэтично, «камера-обскура». Болотов был очарован:

...виденный... прошпективический ящик так мне полюбился, что он у меня с ума не сходил и я неведомо что дал бы, если б мог иметь такой же... Хрустальные призмы и другие опти-

ческие инструменты... приводили меня в новые восторги и в удивление; но восхищение, в какое приведён я был камерою-обскурою, не в состоянии я уж никак описать [там же: 208].

Болотов сам сделал переносную камеру-обскуру, чтобы в поездках брать ее с собой. Она позволяла ему «срисовывать натуральные виды» на холст и потом раскрашивать их. С помощью этого прибора Болотов смотрел на Кенигсберг, и с его же помощью он показывал друзьям, российским офицерам, «картинки». Друзья «схаживались толпами» любоваться новым зрелищем: картинка «изображала виды всех лучших мест и улиц в городе Венеции и многих других знатнейших европейских городов» [там же: 212]. Волшебный фонарь помог Болотову унести Европу обратно в Россию. Много лет спустя, когда он писал свои записки, камера все ещё была у него, как «некакой памятник тогдашнего времени». Рассказы о том, как он покупал камеру, как делал другую, улучшал обе, демонстрировал их друзьям, составляют счастливейшие страницы воспоминаний Болотова. Ни продвижение по службе, ни женитьба, ни возвращение домой не принесли ему столько радости. Камера, которая показывала Европу вверх ногами, была его просвещением и удовольствием.

Впервые описанная Иоганном Кеплером в начале XVII века, камера-обскура часто упоминалась в трудах мыслителей эпохи Просвещения. Юм сравнивал познание с темной комнатой, в которую врывается луч света и освещает часть ее. Для Локка камера-обскура — лучшая метафора разума [Abrams 1953: 57]. Пиетистское представление о внутреннем свете, который без посредников приносит истину душе, соответствовало простому устройству этих камер. С ними Просвещение становилось частным, посильным делом. В то самое время, когда Болотов разбирался в устройстве камеры-обскуры, ему пришлось освоить камералистскую систему управления. Он был назначен переводчиком в Городскую палату (Kammer), ответственную за сбор налогов и пошлин, которую канцелярия генерал-губернатора унаследовала от прусской администрации. Примечательно, что Болотов использует одно и то же иностранное слово, *камера*, или *камора*, для обеих изученных им в Кенигсберге систем: оптического прибора и структуры управления. Хотя он открыто не говорит об аналогиях или различиях между двумя «каморами», такое сходство напрашивается из его описания рабочего пространства в Кенигсберге:

...я принуждён был... сидеть один и в сущем уединении, в превеликой, скучной и тёмной палате, освещаемой только двумя закоптевшими окнами с железными решётками, и притом ещё не под окнами, а в удалении от оных, следовательно, сидеть как птичка взаперти, и препровождать наилучшее внешнее время в году не только в непрерывных трудах и работе, но и в прескучном уединении... [Болотов 1931, т. 1: 370].

Как многие россияне в XVIII веке, Болотов любил фейерверки. В 1759 году генерал-губернатор Кенигсберга и его помощник-итальянец устроили фейерверк на берегу реки Прегель в честь взятия города. Болотов никогда не видел ничего подобного, и пруссаки, по его мнению, тоже: их собралось «бесчисленное множество народа», и все получили «превеликое удовольствие». Даже когда по православному обычаю войска в праздничный день салютовали из пушек, кенигсбергские лютеране-пиетисты тоже смотрели на это «с особливым удовольствием» [Болотов 1931, т. 5: 48]. В 1763 году Болотов наблюдал грандиозный фейерверк на Неве, устроенный Петром III в честь примирения с Пруссией. И вновь все берега широкой реки были заполнены народом, и фейерверк был «ослепительный» [Болотов 1986: 299; Болотов 1931, т. 2: 149]. Задолго до эпохи телевидения фейерверки были ближайшим аналогом визуальной пропаганды, спонсируемой государством. С камерой-обскурой для частных удовольствий, тёмной Камерой для государственной службы и фейерверками для массовой коммуникации, Болотов входил в мир современности.

Гердер

Один из первых учеников Канта, Иоганн Готфрид фон Гердер был первым, кто использовал термин «национализм» и исследовал его мирные, гуманистические аспекты [Berlin 1996; Berlin 2000]. Уроженец прусской деревни, оккупированной российскими войсками, Гердер получил неожиданную помощь от их хирурга, который прооперировал юноше глаз и дал ему денег на обучение в Кенигсберге. Русский врач хотел, чтобы Гердер изучал медицину, но в августе 1762 года, как раз когда было объявлено о выводе российских войск из Кенигсберга, Гердер начал посещать лекции Канта. Одно из первых его поэтических произведений — ода Петру III, который положил конец российской оккупации [Ergang 1966: 60–63]. В трактате «Есть ли ещё у нас общество и отечество древних?», который Гердер написал в Риге в 1764 году для Екатерины II, он прославлял немецкий дух, но завершал текст одой российской императрице, которая все же была немкой:

Да, отечество, ты, мать, которой мудрецы
принесут в жертву перворожденный плод духа...
Твой это дом в тени Екатерины...
Здесь благословение России, там — объятия солнца
[Herder 1992: 64].

Как показал Исая Берлин, гердеровское понимание национализма «оставалось неизменным» за все время его карьеры, от Семилетней войны до Наполеоновских войн [Berlin 2000: 180]. Однако Берлин, глубокий знаток российской мысли, сам родившийся в Риге, не стал подробно останавливаться на жизни Гердера при российской оккупации, которая была важна для его теории национализма. Именно в это время Гердер понял ценность сообщества и его автономию от государства. Философия стала для него жанром публичного дискурса, способом самопознания, как поэзия или политика. Философий столько же, сколько народов. Но когда народы начинают войну или один из них притесняет другой, понимание между ними невозможно.

Дистанцировавшись от Канта, Гердер сохранил общую со своим учителем тему автономии, личного и коллективного самоопределения. Хотя учёные выводят интерес к этой проблеме из общей для Канта и Гердера духовной традиции пиетизма, важным был и их общий опыт российской оккупации. Тем, кто верил в опору на собственные силы и во внутренний свет, трудно было жить при чужой власти. Скрытые транскрипты развивались в оригинальную философию. Основа государства — российского ли, прусского ли — завоевание; все войны по сути — гражданские; государство отнимает у человека самого себя: в их вдохновенных формулах Гердер высказывал свою концепцию, у которой было великое будущее [Berlin 2000; Swift 2005]. Хотя все империи «стоят на глиняных ногах», Гердер восхищался Петром I, «человеком и чудом столетия», и Екатериной II, наконец завершившей войну [Herder 1992: 62]. Российская власть в Риге и Кенигсберге не терпела политической оппозиции, но великодушно игнорировала культурные различия. Такое отделение политики от культуры — возвышенный вариант непрямого правления — объясняет, почему у Гердера появилась ненависть к русским. Позднее он писал о прекрасной судьбе, ожидающей славян в будущем, и призывал изучать славянский фольклор — «архив самого народа» [Gesemann 1965]⁴. Гердеровский идеал существования — это жизнь в сообществах людей, соединенных общей культурой, которые организуют свою жизнь независимо от государства. Не из наблюдений ли общинного быта славян в Пруссии или Ливонии выросла эта идея? Гердер был популярен среди российских интеллектуалов-романтиков начала XIX века, и некоторые из его

⁴ Советская пропаганда упустила шанс напомнить о Гердере — пророке блестящего будущего для славян, но учебники истории в Украине приводят большие цитаты из его работ [см.: Портнов 2010: 148].

поклонников занимали высокие посты в имперской администрации [Майофис 2008]. Антропологические идеи Гердера контрастировали с кантовской, более натуралистической и ориенталистской традицией, которую развивали Шлёцер и его коллеги в Геттингене, называя это этнологией. Позднее оба проекта воссоединились в истории одной семьи. Последователь Гердера, Люциан Малиновский, профессор славянских языков и исследователь фольклора Северной Польши, стал отцом Бронислава Малиновского, великого антрополога, который отправился на Тихий океан, вооруженный идеями восточноевропейского романтизма [Gellner 1998: 130].

Постколониальное состояние часто бывало отмечено всплеском интеллектуальной жизни — поэзии, философии, внутренней этнографии. Кружок Канта и Гердера в Кенигсберге раньше других испытал творческую силу этого момента освобождения. Наблюдая за драматическими событиями, вызванными к жизни человеческой волей, но необъяснимыми, как землетрясения, интеллектуалы пришли к новому, революционному пониманию рациональности, автономии и истории. Этот вывод подтверждают судьбы ещё двоих людей того же круга, Гамина и Аббта. Оба они были авторитетны для Гердера в тот период, когда он дистанцировался от Канта [Zammito 2002: 164]. Оба приняли серьезное участие в Семилетней войне. Иоганн Георг Гаман, философ из Кенигсберга, жил в Риге, находившейся под властью России, и работал там на крупных торговцев братьев Беренс. Торговцы пенькой и древесиной, братья Беренс имели все причины беспокоиться из-за того, что Россия и Англия — продавец и покупатель их товаров — оказались в состоянии войны. Один из братьев, Рейнгольд Беренс, оставил воспоминания, в которых упоминает, что среди друзей их дома были Гаман и Кант. После окончания Семилетней войны Рейнгольд служил военным доктором в России, участвовал в подавлении Пугачевского восстания и побывал даже в горах Алтая. Беренс настолько обрусел, что в воспоминаниях назвал своего почтенного школьного учителя Нестором [Berens 1812: 10].

В 1756 году братья Беренс послали Гамана в Лондон с миссией «столь же политической, сколь и коммерческой» [Berlin 2000: 262; Betz 2008: 30]. Секретная часть этой миссии заключалась в визите Гамана к Александру Голицыну, российскому послу в Лондоне. Гаман передал послу некое предложение от братьев Беренс, которое посол сразу отверг. Вероятно, рассчитывать на его поддержку было неумно: позднее, во время екатерининского переворота, Голицын действовал как «вертушка». Исая Берлин предположил, что братья Беренс замыслили отколоть немецкоязычную Прибалтику от Российской империи. Если так, трудно понять, зачем они посылали своего агента к российскому послу в Лондон. Кажется более вероятным, что они хотели восстановить англо-российский союз, который был выгоден для их торговли. Каким бы ни было предложение Беренсов, Гаман не смог убедить посла, и это изменило его жизнь. Дипломатическая неудача привела его к христианскому пробуждению и дала старт его новой карьере в качестве критика Просвещения. Из Лондона он вернулся в Кенигсберг, где преподавал Гердеру английский язык и соперничал с Кантом за влияние на юные умы.

Историки знают, что именно во время Семилетней войны в Германии складывалась публичная сфера; догадывались об этом и современники. Кроме Гердера, над этим процессом размышлял Томас Аббт в поэме «О смерти за отечество» (1761) [La Vopa 1995; Redekor 1997]. Призывая немцев героически сопротивляться захватчикам, поэма стала ответом на поражение прусской армии в крупном сражении под Кунерсдорфом, возле Франкфурта-на-Одере. В 1760 году, во время российской оккупации Франкфурта, Аббт стал профессором философии в местном университете; наверно, ему тоже пришлось принять русскую присягу. После окончания войны, в 1765 году, Аббт покинул университет ради придворной должности у графа Вильгельма фон Шаумбург-Липпе, одного из самых успешных прусских полководцев Семилетней войны. В своей поэме Аббт внёс свой вклад в споры о теодицее и о природе зла:

Свою мысль о состоянии человечества он выразил в мрачной притче об армии на вражеской территории, которая не представляет, в чем цель войны, так что каждый солдат вынужден заключать свой собственный мир [Zammito 2002: 169].

Найдя эту замечательную историю в старинном тексте, Заммито не обратил внимание на то, что для Аббта, автора «О смерти за отечество», эта неудачливая армия была российской армией в Пруссии, а групповой портрет несчастных солдат, ищущих собственного мира с противником и собой, будто написан с Болотова.

Начало и конец

Полтора века спустя, в августе 1914 года, российские войска снова подошли к Кенигсбергу. «Казачи идут!» — кричали в городе. Окружённая паникующей толпой, маленькая Хана Арендт покинула город вместе с матерью. Но в Берлине ее замучила тоска по дому, так что десять недель спустя, после поражения российских войск в битве под Танненбергом, они вернулись в Кенигсберг. У Ханны появилось периодическое недомогание — лихорадка, которая возвращалась каждый раз при отъезде из Кенигсберга [Young-Bruehl 1982: 23]. Эта ранняя неустроенность, наверно, повлияла и на ее последующие идеи [Gellner 1987: 76]. Кант стремился к всемирному, универсальному знанию, не покидая своего города, но сам этот город переходил от Пруссии к России и обратно. Арендт блуждала по миру, преследуемая отсутствием гражданства, банальностью зла, симметрией Германии и России и памятью о своей девичьей лихорадке. Мы можем только догадываться, какую роль в ее послевоенных переживаниях сыграл тот факт, что хотя страна ее языка и культуры была освобождена от рабства и террора, ее город, к которому она была так болезненно привязана, все ещё находился под тоталитарным господством. Мы не знаем, как бы складывалась жизнь этих философов, Канта и Арендт, если бы они росли в других местах: везде свои трудности. Однако мы ясно ощущаем связь их самых глубоких идей с их отношениями с Кенигсбергом. Основанный для колонизации, но сам колонизованный, этот неудавшийся имперский центр оказался плодотворной почвой для критического осмысления современности.

После того как российская армия ушла из Кенигсберга, Кант избавился от своего субалтерного молчания. Наряду со знаменитыми «Критиками» он создал проект вечного мира (1795), утопический проект будущей федерации народов, далёких и близких, основанный на запрете захватывать территории друг друга. Эта прогрессивная идея приобрела популярность в России начала XIX века. В 1813 году Сергей Уваров, будущий министр просвещения, переписал утопию Канта как проект переустройства Европы после Наполеоновских войн, с Россией во главе нового союза империй [Майофис 2008: 74]. Несмотря на связи Уварова, его трактат не имел успеха ни при дворе, ни у союзников. Кант писал, что вечный мир станет возможен, только когда все государства станут республиками; до этого, думали в Петербурге, очень далеко. Мир в Европе был реален, когда основывался не на утопической федерации, а на балансе сил; но этот британский принцип чаще всего не нравился российским правителям.

С приходом современности сила государства стала зависеть не только от его размеров и ресурсов, но от знаний и творчества народа. В 1786 году Кант опубликовал эссе «Предполагаемое начало человеческой истории», в котором под видом комментария на Книгу Бытия скрывались размышления о войне и мире. Ближе к концу эссе Кант отказывается от шифра и признает, что речь идёт не только об Адаме и Ное, но и о современных ему событиях:

Опасность войны ещё и теперь единственная узда, сдерживающая деспотизм; для того чтобы государство теперь было сильным, требуется богатство, а без свободы не может развиваться деятельность, создающая богатства [Кант 1994, т. 8: 84–85].

Власть суверена зависит от военной мощи государства, а та зависит от свободы подданных: без свободы не может развиваться деятельность и промышленность. Деспоты нуждаются в творчестве подданных, создающих «секретные гаубицы» и тому подобные новации, и только поэтому они ограничивают собственный деспотизм. Война и приготовления к войне несут народам величайшие бедствия, писал Кант; «на это тратятся все силы государства, все плоды его культуры». Хуже того, «свободе наносятся... величайшие удары» в силу «материнской заботливости государства», которая оправдывается «интересами внешней безопасности». Однако, спрашивает Кант,

...разве пользовалось бы население той долей свободы, которая, хотя и при весьма ограничительных законах, все-таки остаётся, если бы эта вечно угрожающая война не вынуждала верховных правителей государств к уважению человечества? [там же].

Забываясь о внешней безопасности, деспот ослабляет внутренний контроль и «материнскую заботливость», потому что только так он может получить продуктивную работу от своих подданных. Воюя и готовясь к войне, просвещённый деспот, такой как Фридрих и Екатерина, поддерживал и шпицрутены, и университетские кафедры: он нуждался в обоих, чтобы победить или хотя бы остаться у власти. В те времена, как и в нынешние, затраты на таких людей, как Болотов, — учёных, инженеров, переводчиков — оправдывались более всего их необходимостью для военных усилий. Без свободы нет знания, без знания нет успеха, и потому война оказывается «единственной уздой, сдерживающей деспотизм». В конце концов, однако, деспота ждёт возмездие от создателя его лучшего оружия: обладая наибольшей свободой, тот захочет разделить ее с другими. Эта мысль отлично подходит к событиям холодной войны XX века. Арндт страстно защищала советских диссидентов и прожила достаточно долго, чтобы узнать об Андрее Сахарове; согласилась ли бы она с таким прочтением Канта?

«На той ступени культуры, на которой человечество ещё стоит [сейчас], война является неизбежным средством, способствующим его прогрессу», — писал кенигсбергский философ, проведший жизнь на острие противостояния между двумя воинственными цивилизациями, германской и российской. Приведя в пример Китай, который «не имел могущественного врага и в котором стёрты всякие следы свободы», философ возвращается к священной истории, которую трактует очень вольно. В его пересказе Книга Бытия говорит о том, как пастухи-кочевники, «непримиримые враги всякой земельной собственности», напали на мирных земледельцев и горожан. Между ними шла непрерывная война, по меньшей мере существовала ее угроза, и народы обоих лагерей могли... наслаждаться неоценимым благом свободы». Но потом история делает романтический поворот, из притчи о предполагаемом начале превращаясь в притчу о конце: «Со временем все увеличивающаяся роскошь горожан, в особенности их искусство нравиться, благодаря которому городские дамы затмевали чумазных женщин пустыни, должна была стать для кочевников влекущей приманкой». Уступая соблазну горожанок, пастухи завязывают отношения с ними, что приносит конец «всякой опасности войны», а с ней и «всякой свободе». Кант ссылается тут на Моисея [Кант 1994, т. 6: 2–17]: «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы», но их смешения кончаются развращением человека, раскаянием Бога и Всемирным потопом. Свобода кончается, когда прекращается война или, что кажется вернее, когда исчезает угроза. И тогда, заключает Кант, наступает «унизительнейшее рабство» и «неисцелимая порча» [Кант 1994, т. 8: 84–85].

Думал ли Кант о своем «идеале женщины» — графине фон Кейзерлинг — и бароне фон Корфе, или романтическая история о диком захватчике и городской красавице и правда отвечала тому, как он читал историю Потопа, урок получился поразительно современный. Величайшие беды происходят из-за войн и подготовки к ним. Но если бы не угроза войны, говорит Кант, у людей совсем не осталось бы свободы, потому что эта угроза — единственный

фактор, который заставляет правителей уважать человечество и ту способность к творчеству, которую даёт одна только свобода. При наличном состоянии культуры, считает Кант, вечный мир недостижим. На этой стадии война, а не мир ускоряет движение человечества. Быку нужна трава, а человеку нужна свобода, и потому война, государство и зло должны существовать.

Аксаков И. 1994. *Письма к родным, 1849–1856*. — М.: Наука.

Анисимов Е. 1999. *Елизавета Петровна*. — М.: Молодая гвардия.

Анненков П. 1989. *Литературные воспоминания*. — М.: Правда.

Болотов А. 1931. *Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков*. Т. 1–3. — М.: Academia.

Болотов А. 1986. *Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков*. / Ред. А. Гулыга. — М.: Современник.

Валентинов Н. 1953. *Встречи с Лениным*. — Нью-Йорк: Издательство имени Чехова.

Венгеров С. 1902. Тургенев. — *Энциклопедический словарь*. — СПб.: Брокгауз. — С. 96–106.

Веселовский Н.И. 1887. *Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам*. — СПб.: Императорское археологическое общество.

Вульф Л. 2003. *Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения*. — М.: Новое литературное обозрение.

Герштейн Э. 1964. *Судьба Лермонтова*. — М.: Советский писатель.

Градовский Г.К. 1882. К истории русской печати. — *Русская старина*. — 2. — С. 494–509.

Григорьев В.В. 1846. Еврейские религиозные секты в России. — *Журнал Министерства внутренних дел*. — 15/3–49. — С. 282–309.

Гроссман Л. 1929. Исторический фон «Выстрела». — *Новый мир*. — № 5. — С. 203–223.

Гулыга А. 1977. *Кант*. — М.: Молодая гвардия.

Даль В. 2002a. Полтора слова о нынешнем русском языке. — *Неизвестный Владимир Даль*. — Оренбург: Книжное издательство.

Даль В. 2002b. Автобиографические записки. — Даль В. *Картины из русского быта*. — М.: Новый ключ.

Дружинин Н.М. 1946. *Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселёва*. Т. 1. — М.

Жаботинский В. (Зеев). 1989. *Повесть моих дней*. — Иерусалим: Алия.

Кант И. 1994. *Собрание сочинений: В 8 т.* — М.: Чоро.

Корф М. 2003. *Записки*. — М.: Захаров.

Костяшов Ю.В., Кретинин Г.В. 1999. *Петровское начало: Кенигсбергский университет и российское просвещение в XVIII веке*. — Калининград: Янтарный сказ.

Кретинин Г.В. 1996. *Под Российской короной, или Русские в Кенигсберге*. — Калининград: Калининградское книжное издательство.

Лебедев К. 1888. Из записок сенатора. — *Русский архив*. — Т. 7.

Левшин А.И. 1994. Достопамятные минуты в моей жизни. — Федоров В.А. (ред.). *Конец крепостничества в России*. — М.: МГУ.

Липранди И. 1870a. О природных границах и стремлении немцев на Восток ('Drang nach Osten'). — *Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских*. — Т. 1.

- Липранди И. 1870b. Краткое обозрение русских расколов, ересей и сект. — *Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских*. — Т. 2.
- Майофис М. 2008. *Воззвание к Европе. Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818*. — М.: Новое литературное обозрение.
- Мельников П. 1910. *Отчет о современном состоянии раскола. — Действия Нижегородской Губернской Ученой архивной комиссии*. Т. 9. — Нижний Новгород.
- Мельников-Печерский П. 1873. Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале. — *Русский вестник*. — № 3.
- Надеждин Н. 2000. Современное направление просвещения. — Надеждин Н. *Сочинения*. — СПб.: РХГИ.
- Пирожкова Т.В. 1997. *Славянофильская журналистика*. — М.: МГУ.
- Портнов А. 2010. *Упражнения с историей по-украински*. — М.: ОГИ.
- Пыпин А. 1890. *История русской этнографии*. — СПб.
- Рейтблат А.И. (ред.) 1998. *Видок Фиглярин: Письма и записки Булгарина в III Отделении*. — М.: Новое литературное обозрение.
- Салтыков-Щедрин М. 1936. *Полное собрание сочинений*. — М.
- Стебницкий М. (Николай Лесков). 1863. С людьми древнего благочестия. — *Библиотека для чтения*. — 9.
- Сухомлинов М.Л. 1888. И.С. Аксаков в сороковых годах. — *Исторический вестник*. — Февраль.
- Тургенев Н. 1963. *Собрание сочинений*. — М.
- Шумахер А.Д. 1899. Поздние воспоминания о давно минувших временах. — *Вестник Европы*. — № 3. — С. 89–128.
- Эйдельман Н. 1993. Где и что Липранди? — Эйдельман Н. *Из потаённой истории России XVIII–XIX веков*. — М.: Высшая школа. — С. 429–464.
- Abrams I.H. 1953. *The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition*. — New York: Oxford University Press.
- Anderson B. 1991. *Imagined Communities*. — London; New York: Verso.
- Anderson F. 2000. *Crucible of War: The Seven Years War and the Fate of Empire in British North America*. — New York: Vintage.
- Bartlett R. 1979. *Human Capital. The Settlement of Foreigners in Russia, 1762–1804*. — Cambridge: Cambridge University Press.
- Berens R. 1812. *Geschichte der seit hundert und fünfzig Jahren in Riga einheimischen Familie Berens aus Rostock*. Riga: Julius Muller Verlag.
- Berlin I. 1978. A Remarkable Decade. — Berlin I. *Russian Thinkers*. — New York: Penguin.
- Berlin I. 1996. Kant as an Unfamiliar Source of Nationalism. — Berlin I. *Sense of Reality*. — London: Chatto.
- Berlin I. 2000. *Three Critics of the Enlightenment*. — London: Pimlico.
- Betz J. 2008. *After Enlightenment: The Post-Secular Vision of J.G. Hamann*. — Oxford: Wiley-Blackwell.
- Brubaker R. 1992. *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. — Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Butterfield H. 1955. *Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship*. — Cambridge: Cambridge University Press.
- Diderot D. 1992. Observations sur le Nakaz. — Diderot D. *Political Writings*. — Cambridge: Cambridge University Press.
- Ergang R.R. 1966. *Herder and the Foundation of German Nationalism*. — New York: Octagon.
- Frost R. 2000. *The Northern Wars: War, State and Society in Northeastern Europe, 1558–1721*. — Harlow: Longman.

- Gellner E. 1987. *Culture, Identity, and Politics*. — Cambridge: Cambridge University Press.
- Gellner E. 1998. *Language and Solitude. Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma*. — Cambridge: Cambridge University Press.
- Gesemann W. 1965. Herder's Russia. — *Journal of the History of Ideas*. — 26/3. P. 424–434.
- Gulyga A. 1987. *Immanuel Kant. His Life and Thought*, trans. Marijan Despalatovic. — Boston: Birk.
- Haxthausen A. von. 1856. *The Russian Empire, Its People, Institutions, and Resources*. — London: Chapman & Hall.
- Herder J.G. 1992. *Selected Early Works*, trans. Ernest A. Menze and Michael Palma. — University Park: Penn State University Press.
- Kaplan H.H. 1968. *Russia and the Outbreak of the Seven Years War*. — Berkeley: University of California Press.
- Khodarkovsky M. 1992. *Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomads*. — Ithaca: Cornell University Press.
- Knight N. 1998. Science, Empire, and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845–1855. — Burbank J., Ransel D. (eds.). *Imperial Russia. New Histories for the Empire*. — Bloomington: Indiana University Press. — P. 108–148.
- Knight N. 2000. Grigor'ev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? — *Slavic Review*. — 59/1. P. 74–100.
- Koselleck R. 2004. *Futures Past*, trans. Keith Tribe. — New York: Columbia University Press.
- Kuehn M. 2001. *Kant: A Biography*. — Cambridge: Cambridge University Press.
- Kuehn M., Klemme H. n. d. *Daniel Heinrich Arnoldt*. — Access: <http://www.manchester.edu/kant/bio/FullBio/ArnoldtDH.html>. Data: 08.12.2013.
- La Vopa A. 1995. Herder's Publikum: Language, Print, and Sociability in Eighteenth-Century Germany. — *Eighteenth-Century Studies*. — 29/1. P. 5–24.
- La Vopa A. 2005. Thinking about Marriage: Kant's Liberalism and the Peculiar Morality of Conjugal Union. — *The Journal of Modern History*. — 77 (March). P. 1–34.
- Lincoln B.W. 1982. *In the Vanguard of Reform. Russia's Enlightened Bureaucrats*. — DeKalb: Northern Illinois University Press.
- Newlin T. 2001. *The Voice in the Garden: Andrei Bolotov and the Anxieties of Russian Pastoral, 1738–1833*. — Evanston, IL: Northwestern University Press.
- Orlovsky D.T. 1981. *The Limits of Reform: The Ministry of Internal Affairs in Imperial Russia, 1802–1881*. — Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Palmer A. 2005. *Northern Shores: A History of the Baltic Sea and its Peoples*. — London: John Murray.
- Redekop B.W. 1997. Thomas Abbt and the Formation of an Enlightened German 'Public'. — *Journal of the History of Ideas*. — 58/1. — P. 81–103.
- Schimmelpenninck van der Oye D. 2010. *Russian Orientalism. Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration*. — New Haven: Yale University Press.
- Schumann M., Schweizer K.W. 2008. *The Seven Years War: A Transatlantic History*. — London: Routledge.
- Schweizer K. 1989. *England, Prussia, and the Seven Years War*. — Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
- Scott J. 1990. *Hidden Transcripts. Domination and the Arts of Resistance*. — New Haven: Yale University Press.
- Scott J.C. 2011. *Seeing Like a State*. — New Haven: Yale University Press.
- Seddon J.H. 1985. *The Petrashevtsy. A Study of the Russian Revolutionaries of 1848*. — Manchester: Manchester University Press.

Spivak G.C. 1994. Can the Subaltern Speak? — Williams P., Chrisman L. (eds.). *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*. — Harlow: Pearson. — P. 66–112.

Stoler A.L. 2009. Considerations on Imperial Comparisons. — Gerasimov I. et al. (eds.). *Empire Speaks Out*. — Leiden: Brill. — P. 33–58.

Sunderland W. 2010. The Ministry of Asiatic Russia: The Colonial Office That Never Was But Might Have Been. — *Slavic Review*. — 69. — P. 120–150.

Suny R.G. 2001. The Empire Strikes Out: Imperial Russia, 'National' Identity, and Theories of Empire. — Suny R.G. *Empire and Nation-Making in the Soviet Union, 1917–1953*. — Oxford: Oxford University Press.

Swift S. 2005. Kant, Herder, and the Question of Philosophical Anthropology. — *Textual Practice*. — 19/2. — P. 219–238.

Wakefield A. 2009. *The Disordered Police State. German Cameralism in Science and Practice*. — Chicago: The University of Chicago Press.

Weber M. 1979. *Economy and Society*. — Berkeley: University of California Press.

Young-Bruehl E. 1982. *Hannah Arendt. For Love of the World*. — New Haven: Yale University Press.

Zammito J.H. 2002. *Kant, Herder, and the Birth of Anthropology*. — Chicago: University of Chicago Press.